На память о русском Китае

Евгений Владимирович Витковский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В электронной книге содержатся авторские редакции биографических очерков:

1. Формула бессмертия: жизнь и судьба поэта Арсения Несмелова;

2. Апостериори: воспоминания о последних десятилетиях жизни Валерия Перелешина. «Записки Ариэля».

Примечание автора: Первая работа представляет собой полностью переработанное предисловие к двухтомному собранию сочинений Арсения Несмелова (Владивосток, 2006).

Вторая написана специально к столетию со дня рождения Валерия Перелешина (20 июля 1913 — 20 июля 2013) и публикуется впервые.

© *Евгений Витковский*

- Евгений Витковский
  - Формула бессмертия
  - Апостериори
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

Евгений Витковский
На память о русском Китае

Формула бессмертия

…Я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки, может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо.

В. Ходасевич. Кровавая пища

Умереть на полу тюремной камеры — дело для русского поэта обыденное. Умереть в петле, под расстрелом — всё это часть его неотъемлемого «авторского права». Поразмышляешь на такую тему в бессонную ночь — и к утру уверуешь, что подобные права охраняются какой-то конвенцией, подписанной и добровольно ратифицированной не только множеством держав, но и самими поэтами. А вынесенные в эпиграф слова Ходасевича — такой же бред несбыточной мечты, как надежды приговоренного в ночь перед казнью.

Но чудо (которое потому и *чудо*, что никогда не *правило*) пусть очень редко, но случается. Сходит с эшафота приговоренный к расстрелу Достоевский. Случайно остается на свободе Андрей Платонов. Выздоравливает от рака Солженицын. Можно бы поставить «и т. д.», да только не будет в том и малого золотника правды — список чудес всегда краток.

Когда бывший офицер царской армии Арсений Митропольский, успевший стать белым офицером армии Колчака, в мае 1924 года решился бежать из Владивостока на сопки Маньчжурии через глухую тайгу и кишащие бандитами и тиграми заросли, чудом было не его желание спасти жизнь, которой его, участника Ледового похода, очень скоро бы в СССР лишили, — чудом было то, что до Харбина, центра русской эмигрантской жизни в Китае тех лет, он все-таки добрался живым и невредимым. Как результат воспоследовала «отсрочка в исполнении приговора» на двадцать один год. Из офицера успел вырасти большой русский поэт, но затем «русское авторское право» его все-таки настигло, и умер он как положено: на полу камеры пересыльной тюрьмы в Гродекове, столице дальневосточного казачества недалеко от Владивостока, — умер в дни, когда в побежденной Японии на руинах спаленных атомными взрывами городов люди продолжали многими сотнями

умирать от лучевой болезни, когда эшелоны освобожденных из немецких концлагерей советских военнопленных медленно ползли в районы Крайнего Севера, когда фельдмаршал Геринг, наивно полагал, что в истории никто и никогда фельдмаршалов не вешал, — и в силу этого ему не грозит опасность стать таковым первым, — отчитывался в деяниях, совершенных им на ответственном посту в третьем рейхе… Да и в Японии было то же: Тодзио Хидеки, Итагаки Сейсиро, Хирота Коки, Мацуи Иване, Доихара Кендзи, Кимура Хейтаро, Муто Акира едва ли ждали виселицы. Но дождались. Моря были полны мин, земля — неразорвавшихся снарядов, лагеря и тюрьмы были набиты виновными и невиновными. Одна маленькая смерть безвестного зэка перед лицом таких событий гроша ломаного не стоила.

Арестовали его 23 августа 1945 года в Харбине. Те немногие из числа лиц, близко его знавших, кто оставался в живых (и на свободе), считали, что дальнейшая судьба его неизвестна; в единственной справке о Несмелове, приложенной к единственной советской попытке причислить поэта к числу «печатаемых», было сказано, что поэт «по непроверенным данным умер в поезде, возвращаясь в СССР»[1]. Выдумка, сочиненная моими покойными друзьями для цензуры, оказалась неожиданно близка к истине. В 1974 году отыскался человек, а следом еще двое (их уже нет в живых, но родственники, живущие вне России, просили меня не привлекать к ним лишнего внимания), находившиеся после ареста в одной камере с Несмеловым. Один из трех свидетелей — Иннокентий Пасынков (род. 1918, насколько известно, в Чите; вскоре вывезен родителями в Маньчжурию; 8 сентября 1945 года, после вступления советских войск в Харбин, арестован органами НКВД, депортирован на территорию СССР без следствия и суда. После этапа на Урал отправлен в лагерь, в 1947 году осужден Особым Совещанием к 20 годам лишения свободы по ст. 58/4 («содействие международной буржуазии»). В 1956 году освобожден *досрочно* со снятием судимости и — как раз накануне нашего знакомства, в 1973 году реабилитирован «за отсутствием состава преступления»), — тоже, кстати, немного поэт — позднее стал медиком, и его письмо от 22 июня 1974 года содержит в себе буквально клиническую картину смерти поэта. Этот документ надо процитировать без сокращений.

«Теперь сообщу всё, что сохранила память о последних днях Арсения Несмелова. Было это в те зловещие дни сентября[2] 1945 года в Гродекове, где мы были в одной с ним камере. Внешний вид у всех нас был трагикомический, в том числе и у А. И., ну, а моральное состояние Вам нечего описывать. Помню, как он нас всех развлекал, особенно перед сном, своими богатыми

воспоминаниями, юмором, анекдотами, и иногда приходилось слышать и смех и видеть оживление, хотя в некотором роде это походило на пир во время чумы. Как это случилось, точно сейчас не помню, но он вдруг потерял сознание (вероятнее всего, случилось это ночью — это я теперь могу предположить как медик) — вероятно, на почве гипертонии или глубокого склероза, а вероятнее всего, и того и другого. Глаза у него были закрыты, раздавался стон и что-то вроде мычания; он делал непроизвольные движения рукой (не помню — правой или левой), рука двигалась от живота к виску, из этого можно сделать вывод, что в результате кровоизлияния образовался сгусток крови в мозгу, который давил на определенный участок полушария, возбуждая моторный центр на стороне, противоположной от непроизвольно двигавшейся руки (перекрест нервов в пирамидах). В таком состоянии он пребывал долго, и все отчаянные попытки обратить на это внимание караула, вызвать врача ни к чему не привели, кроме пустых обещаний. Много мы стучали в дверь, кричали из камеры, но всё напрасно. Я сейчас не помню, как долго он мучился, но постепенно затих — скончался. Всё это было на полу (нар не было). И только когда случилось это, караул забил тревогу и чуть не обвинил нас же — что ж вы молчали…»[3]

Редко у кого из русских поэтов найдешь столь полную и клиническую, документированную картину смерти. Немногочисленные в те годы поклонники Несмелова после того, как письмо Пасынкова стало им известно, по крайней мере, знали *примерную* дату его смерти: осень 1945 года. Она и стояла до недавнего времени в большинстве справочников, ее как последнее, что удалось установить относительно точно, я тоже назвал именно в предисловии к первой книге «избранного» Несмелова, вышедшей в Москве[4]. Документ этот получил широкую известность. Добавлю, что с И. Н. Пасынковым я общался еще в 2009 году: он жил в Москве, особым здоровьем похвастаться не мог, но пребывал в твердом рассудке. Скончался он 4 августа 2011 года, похоронен на Кузьминском кладбище в Москве.

Нужно привести и второй документ, полученный спустя много лет с большим трудом. В ответ на запрос Ли Мэн из Чикаго от 24 февраля 1998 года Прокуратура Российской Федерации (точнее — собственно прокуратура города Москвы) ответила таким письмом:

> Ваш запрос о биографических данных Митропольского Арсения Ивановича (псевдоним

Арсений Несмелов) прокуратурой г. Москвы рассмотрен.

Сообщаю, что Митропольский Арсений Иванович, русский, родился в Москве в 1889 году[5], арестован 1 ноября 1945 г. по подозрению в контрреволюционной деятельности. Место ареста неизвестно. 6. 12. 45 умер в госпитале для военнопленных, в связи с чем уголовное дело 31 декабря 1945 г. Управлением контрразведки «СМЕРШ» Приморского военного округа было прекращено. Не реабилитирован.

Дело направлено в Главную прокуратуру РФ для решения вопроса о реабилитации.

Начальник отдела реабилитации

жертв политических репрессий В. М. Зайцева

Эта справка поражает не цинизмом перевранных фактов, а очевидной бессмыслицей последней фразы — в запросе Ли Мэн никакой просьбы о реабилитации не было. Впрочем, дочь Несмелова, Наталья Арсеньевна Митропольская, будь ее отец реабилитирован, получила бы в свое пользование авторское право на стихи и прозу Несмелова, притом право это, по законам РФ, действует в течение 70 лет со дня реабилитации. Увы, даже это теперь бессмысленно: Наталья Арсеньевна, успев прочитать в № 213 нью-йоркского «Нового Журнала» эту записку из прокуратуры, скончалась 30 сентября 1999 года на восьмидесятом году жизни в городе Верхняя Пышма близ Екатеринбурга, и наследников больше нет, пусть — честно говоря — никто не обрадовался бы такому «заветному наследству». Хотя Раиса Стоколяс, биограф Натальи Арсеньевны, и вспоминает, как они «поговорили и решили, что надо оформить права наследования на публикации Несмелова Витковскому»[6]. Авторское право Несмелова теперь не принадлежит никому, даже если новая Россия удостоит белого офицера реабилитации. Думается, что в ней будет отказано. Ибо состав *преступления* в действиях Несмелова был: вся его жизнь была направлена против советского режима. Впрочем, про наше *российское авторское* право речь уже шла выше. Оно действительно принадлежит всем и каждому: «Право на общую яму / Было дано Мандельштаму…», как писал Иван Елагин. Кстати, А. В. Колчаку в реабилитации недавно было отказано: зато в 2005 году имя адмирала было возвращено острову близ Таймыра. Если говорить об исторической справедливости — этого совершенно достаточно. Пусть творчество Несмелова уйдет в public domain, по русски говоря — в «общественное достояние».

Надо коснуться и странной даты «1 ноября». Архивисты

говорят, что это дата предъявления Несмелову обвинения; следовательно, больше двух месяцев он провел в тюрьме даже без такой мелочи. Ну, а именование пола камеры пересыльной тюрьмы гордым термином «госпиталь для военнопленных» — видимо, часть российского авторского права. Одно мы знаем точно: к концу 1945 года Несмелова действительно не было в живых, и «6 декабря» вполне годится хотя бы как условная дата его смерти.

Хотя и не всем годится эта дата, не всем годятся факты (как известно, «тем хуже для фактов»). Нам придется обратиться к творчеству помощника ректора по организационным и общим вопросам Морского государственного университета во Владивостоке, Алексея Михайловича Буякова (р. 1958), подполковника госбезопасности, автора книги «Органы государственной безопасности Приамурья в лицах: 1923–2003 г.г.» (Владивосток, 2003). Однако речь идет о более ранней публикации подполковника Буякова — «Русский поэт и фашист» (доступна в интернете). В ней автор доказывает, что Арсений Несмелов был отнюдь не поэтом, а всего лишь деятельным фашистом. В частности, там сказано: «*В государственном архиве Хабаровского края хранится масса архивных документов и материалов главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). Там же есть и личное дело Арсения Ивановича Несмелова (Митропольского) с персональной карточкой БРЭМовца Несмелова и краткой биографией. Но что сразу поражает исследователей, знакомящихся с архивным делом поэта, так это то, что в нем около шести листов, хотя оставшаяся на последних листах сквозная нумерация позволяет утверждать, что дело состояло максимум из 115–117 листов*».

Не стесняясь удивительного числительного («*около шести*»), Буяков экстраполирует сразу всё, что нужно ему по концепции. Нет нужды отвечать ему, но некоторые ценные документы в его статье приведены. В частности — текст розыскного листа УНКГБ по Хабаровскому краю на А. Несмелова (август 1945 года):

> «*Митропольский Арсений Иванович. 1889 года рождения. Русский. В прошлом офицер белой армии. С 1924 года — эмигрант. Известный среди эмиграции поэт, пишет под псевдонимом „Арсений Несмелов“. С 1941 года — курсант вечерних курсов политической подготовки, организованных при разведывательной школе в Харбине. По окончании курсов был зачислен официальным сотрудником 4 отдела ЯВМ* [Японской Военной Миссии. — Е.В.] *и работал на курсах пропагандистов.*

Читал предмет литературно-художественная агитация. На курсах имел псевдоним „Дроздов“. В мае 1944 был переведен в 6 отдел миссии, где и работал до занятия Харбина Красной Армией. Являлся членом фашистской партии и автором антисоветских произведений, которые издавал под литературным псевдонимом „Дроздов“, „Дозоров“. Сотрудничал во всех эмигрантских газетах и журналах, где помещались статьи, рассказы и стихи.

Личные приметы: среднего роста, фигура мешковатая с небольшим брюшком, волосы русые с проседью, волосы зачесывает с пробором на правую сторону, глаза голубые, лицо морщинистое, пользуется очками. Проживает в Харбине…»

Дальше следует несколько страниц советской пропаганды, которую А. Буяков завершает безобидным абзацем:

«*В августе 1945 года одна из оперативно-розыскных групп территориальных органов госбезопасности и военной контрразведки „СМЕРШ“ разыскала и арестовала Арсения Несмелова. После первого допроса он был отправлен в фильтровочно-пересыльный лагерь в поселок Гродеково, где в сентябре умер от простуды*».

На мгновение поверим обоим источникам. Получается, что в августе 1945 года Несмелов был арестован, надиктовал почти 120 страниц показаний, из которых сохранилось лишь «около шести», потом умер в сентябре от простуды. Далее события развивались захватывающе: 1 ноября 1945 года Несмелов был вновь арестован и помещен в госпиталь для военнопленных, где и умер 6 декабря (не важно — от чего).

Видимо, следственное дело Несмелова в какой-то момент было разделено. Для одного ведомства он умер, для другого еще представлял ценность как свидетель и обвиняемый на будущем процессе Всероссийской Фашистской партии (т. н. «Процесса над семеновцами», широко освещавщегося в советской прессе с 26 августа 1946 год; по итогам процесса были казнены Г. В. Семенов, К. В. Родзаевский и еще трое приговоренных уже 30 августа были расстреляны в подвалах Лубянки). Подполковник КГБ Буяков заканчивает свое творение на патетической ноте: «*По всем меркам Великой Отечественной войны его следует отнести к предателям, помогавшим врагу бороться со своей родиной, со своим народом*». Однако кто и куда дел сто страниц следственного дела — пусть разбираются потомки. Литературное наследие Несмелова делает эти возможные поиски делом увлекательным, но для нас

неинтересным. Человек со следственными делами в нашем сознании и в истории литературы уже давно заслонен поэтом и его книгами. С чего подполковник взял, что «…в 50-е годы или в конце 80-х годов при передаче архива БРЭМа из центрального оперативного архива бывшего КГБ СССР в Хабаровский архив или позже, в самом архиве, кто-то посчитал, что многим нет необходимости знать о негативных или иных фактах биографии поэта» — оставим на его совести. В биографии каждого из нас много чего можно найти: подполковник Буяков — филокартист, и я тоже, но на этом наше «общее дело» заканчивается.

Очевидно, даже некогда инкриминированное Митропольскому сотрудничество с царской контрразведкой в 1910-е годы (под псевдонимом «Захарьин») носило едва ли не открытый характер: «*Доносил на всех знакомых, раскрывал литературные псевдонимы („Теффи“, „Вилли“, „Баян“ и др.), в том числе всех сотрудников „Семафора“*» — заметим, газеты, которую редактировал старший брат Арсения Митропольского, Иван (Красный А. Тайны охранки. М. 1917, с. 4, — указано А. Соболевым). Но надо учесть, что Надежда Лохвицкая, писавшая под псевдонимом «Теффи», была любимой писательницей Николая II, «Вилли» (поэт Владимир Евсеевич Турок, ум. 1918) вообще не скрывал своего псевдонима, «Баян» же был еще известней: так подписывался Александр Степанович Рославлев (1883–1920), автор песни «Над полями да над чистыми». В итоге «сотрудничество с охранкой» Арсения Митропольского выглядит откровенно анекдотически. Потому, видимо, его столь безболезненно и «оправдали»: журналист-офицер выполнял свои обязанности, обвинения были с него сняты уже к июню 1917 года. Как заметил в записках к «Летейской библиотеке» тот же А. Соболев, «*Интересно, что вся куцая люстрация (были напечатаны списки тайных и явных сотрудников Московской охранки) коснулась одного-единственного писателя, будущего Арсения Несмелова, а на тот момент Арсения Митропольского*». Прочие списки кто-то аккуратно сжег, что правда, то правда. Только сделано это было в первые же дни то ли после «февраля», то ли после «октября».

В 1945 году Несмелову было пятьдесят шесть лет. Из них четверть века он был профессиональным писателем, притом весьма плодовитым. Он успел издать более десятка книг, опубликовать многие сотни стихотворений, более сотни рассказов, поэмы, писал статьи и рецензии, даже из эпистолярного его творчества отыскалось кое-что, имеющее серьезную историко-литературную ценность. Хотя в наследии Арсения Несмелова, собранном на сегодняшний день, кое-какие

пробелы есть, но в целом сохранилось оно достаточно полно, во всяком случае, настолько, чтобы занять прочное место и в истории литературы, и на полках любителей поэзии.

* * *

Арсений Иванович Митропольский родился в Москве 8 июня (ст. стиля) 1889 года в семье надворного советника, секретаря Московского окружного военно-медицинского управления Ивана Арсеньевича Митропольского (1834–не ранее 1899), бывшего еще и литератором[7] и Марии Александровны Бибиковой [фамилию матери Несмелов тоже иногда использовал как псевдоним]. Надворный советник — немалый чин по тем временам, т. н. «VII разряд» (иначе говоря — тот же подполковник, «ваше высокоблагородие»): служба занимала в жизни отца куда большее место, чем литература, — если быть точным, военная мемуаристика. Старший брат поэта, Иван Иванович Митропольский (1872 — после 1917[8]), тоже был военным, — насколько известно, подпоручиком, вышел в отставку по болезни в 1907 году; он тоже был писателем и журналистом, и это ему посвящены строки Несмелова из харбинского сборника «Без России» (1931): «Вот брат промелькнул, не заметив испуганных глаз: / Приподняты плечи, походка лентяя и дужка / Пенснэ золотого…» Но брат оставался человеком иного поколения, он печатался с середины 1890-х годов, — Арсений Иванович был на семнадцать лет моложе. Все Митропольские, хотя и выходцы из духовного сословия (из Тверской губернии), в конце XIX — начале XX века вне военной карьеры себя не мыслили. Это важно помнить, охватывая единым взором весь творческий путь нашего героя. Судьба — разрушив семейное гнездо Митропольских — заранее предсказывала события, одно из лучших произведений «старшего брата» — изданный брошюрой рассказ «Маленький Манза. Повесь из манджурской жизни» (М., 1913). Думалось ли в те годы младшему брату о Маньчжурии, помимо того, конечно, что там «спит гаолян»?…

Детство и юность Несмелова (этой фамилией Митропольский называл себя иной раз в воспоминаниях о детстве, хотя псевдоним появился куда позже) известны нам по большей части с его же слов, которым можно верить, ибо таланта *фантаста* писатель был лишен начисто: многие его рассказы так или иначе автобиографичны и построены на собственном жизненном опыте. Дата его рождения, обучение во Втором Московском кадетском корпусе, откуда Митропольский перевелся в Нижегородский

Аракчеевский, который и окончил в 1908 году, — всё это известно, впрочем, и по документам, ибо послужной список офицера царской армии сохранился в архиве[9]. В неожиданном рассказе «Маршал Свистунов», о котором еще пойдет речь ниже, упоминаются господа Мпольские (прозрачный псевдоним, которым автор тоже регулярно пользовался в рассказах), проводившие лето в подмосковном Пушкине, и подробно сообщено, что «у Мпольских был кадет Сеня», — здесь Митропольский-Несмелов назвал себя по имени. В стихотворении из того же сборника «Без России» Несмелов пишет: «…И давно мечтаю о себе, — / О веселом маленьком кадете, / Ездившем в Лефортово на „Б“». Дорогу с родного Арбата на трамвае «Б» (если быть точным, то на конке, — трамваи стали ходить в Москве чуть позже) Несмелов скрупулезно пересказывает в рассказе «Второй Московский»: после трамвая по Покровке, мимо Константиновского Межевого института, мимо Елизаветинского женского института, по мосту через Яузу, мимо корпусов Первого кадетского корпуса к «родному» Второму, где задолго до Митропольского обучался военным наукам А. И. Куприн, которому и посвящен этот немного святочный, но донельзя автобиографичный рассказ.

Вряд ли стоит отыскивать ошибки в топографии и анахронизмы в несмеловской поэзии и прозе — подобное случается в творчестве многих писателей; например, в «Юнкерах» Куприна, в самом конце, герой идет на поклон к памятнику Скобелеву… за двадцать три года до установки такового. Память — всегда редактор, да еще и цензор. А Несмелов, вспоминая детство и юность, писал не столько мемуары, сколько беллетристику.

Стихи Арсений Митропольский писал с детства — как-никак в семье литературой занимались все. Хотя печататься он, видимо, не торопился: лишь в двадцать три года он увидел свою фамилию под опубликованными поэтическими (да и прозаическими) строчками. Историей этого периода его творчества до недавнего времени никто не занимался.

В автобиографии, которую Арсений Несмелов в июне 1940 года написал для Е. А. Сентяниной (матери поэта Валерия Перелешина), есть знаменательные фразы: «Родился в Москве, в Москве и начал писать. <…> До этого [*т. е. до 1918 года — Е.В.*] еще в Москве маленькую книжечку рассказов — военных („Военные странички: стихи и рассказы“, 1915). Печататься начал в Ниве, в 1912-1913-ом годах, кажется». До недавнего времени проверить его слова было практически невозможно: Лишь ради поэтов с мировой славой исследователи переворачивают сотни

тысяч истлевающих газетных и журнальных страниц, разыскивая затерявшиеся строки. Но в XXI веке очередь дошла и до поэта Арсения Несмелова. Факты поддались проверке.

Владиславом Резвым были выявлены публикации более сотни стихотворений Арсения Митропольского (иногда подписанные псевдонимом «Армит», иногда сокращениями Арс. М-ский или А. М-ий) в московских газетах, еженедельниках и журналах: «Женское дело» (1912–1913), «Летучая мышь» (1912–1913); «Семафор» (1912–1914); «Живое слово» (1913–1914); «Будильник» (1913–1917); «Путеводный огонек» (1913–1916): «Детские годы» (бесплатное приложение к журналу «Путеводный огонек») (1914); «Московская газета» (1914); «Семафор» (1913–1914); «Светлячок» (1914); «Столичная молва» (1914–1915); «Заря» (1915–1916); «Наша родина» (1915–1916); «Млечный путь» (Москва) (1916), — а также в петроградском издании «Новый журнал для всех» (1916). Найдена также публикация, хоть как-то напоминающая слова А. Несмелова от 1940 года, что он *печатался* в «Ниве». Действительно, мы берем в руки «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу „Нива“» на 1914 г. Т. II, № 5, май, и находим стихотворение «Померкла туманная линия…»; правда, годом ранее оно уже было опубликовано в № 38 московского «Живого слова», но до начала войны строгое слежение, «чтоб не печаталось дважды» (кстати, поссорившее Сергея Есенина с редакцией московского журнала «Млечный путь» — где Несмелов тоже отметился) еще не стало правилом. Надо думать, «Ниву» Несмелов помянул потому, что это название хоть что-то говорило читателям эмигрантских изданий: прошло больше четверти века. К тому же это была первая столичная публикация Митропольского, да еще с обозначением полной фамилии.

Если первой найденной на сегодняшний день публикациями Митропольского оказались два стихотворения в журнале «Женское дело» (№ 15 от 1 августа 1912 года), то следующими были те его стихи, которые напечатал в декабре 1912 и январе 1913 в журнале «Летучая мышь» его главный редактор, — а был им старший брат поэта, прозаик И. И. Митропольский. Именно таково было *подлинное* начало литературной деятельности Арсения Митропольского, — до псевдонима «Арсений Несмелов» оставалось еще семь с половиной лет жизни, перенасыщенной не столько поэзией, сколько войной на австрийском фронте, борьбой в рядах Белой Армии — тем самым, чего хватило ему на всю оставшуюся жизнь, сюжетами, вырастившего из плодовитого, но второстепенного московского версификатора — крупнейшего поэта Белой Идеи.

Грянула война; 30 июля 1914 года была объявлена всеобщая мобилизация, и 20 августа мобилизован был и прапорщик (с 16 марта 1916 года подпоручик) Митропольский[10]; неделей позже прямо с Брестского вокзала в Москве, в составе одиннадцатого гренадерского Фанагорийского полка он попал на австрийский фронт, в окопы. Первый фронтовой период для Митропольского был недолог, всего полтора месяца: 11 октября 1914 года, под Новой Александрией близ Люблина он был ранен и увезен в Москву: там и встретил новый 1915 год, когда загремело над страной эхо того, что для Руси во все времена было страшней любой Германской войны: «сухой закон». Его поначалу всерьез его никто не воспринимал, — как, похоже, и саму войну.

После ранения Митропольский лечился в Москве, в госпитале. 28 апреля 1915 года был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени «за отличия в делах против неприятеля». В том же 1915 году (видимо, в самом начале), была издана его первая тоненькая книжка: «Арсений Митропольский. Военные странички». Книжка вышла в Москве массовым по тем временам тиражом 3000 экземпляров, в ней были собраны военные очерки и пять стихотворений на фронтовые темы: все пять, надо отметить, еще ранее, между 20 октября и 22 декабря 1914 года уже появились в московской периодике. Так что первую свою книгу Митропольский, видимо, создал не столько в окопах, сколько на койке в госпитале.

Нечего и говорить, что книжка никем замечена не была, — как и все его десятки поэтических публикаций тех лет. Автору пришлось вернуться на фронт, но хотя бы не просто в окопы: 23 ноября 1916 года он получил должность начальника охраны (полицейской роты) штаба двадцать пятого корпуса. Военная жизнь, даже обер-офицерская, — хотя чин у Митропольского был небольшой, но все же не «унтерский», — притом на фронте, годами не двигавшемся ни на запад ни на восток, для разнообразия украшенная лишь обстрелами и редкими попытками наступлений с обеих сторон, располагала не к стихам и не к прозе, а в лучшем случае к преферансу. Однако фронтовых впечатлений *будущему большому поэту и прозаику* хватило на всю оставшуюся жизнь, и небольшим своим офицерским чином он всегда гордился, никогда не забывая напомнить, что он — кадровый поручик, гренадер, ветеран окопной войны. Митропольский не сделал оговорки в автобиографии, которую отдал Е. А. Сентяниной в 1940 году. Он писал: «Два раза уезжал из Москвы, и оба раза воевать. Уехав в 1918 году в Омск, назад не вернулся». В переводе на понятный язык, Несмелов говорит о том, как дважды уезжал *на запад*, на австро-германский фронт — и как

в третий раз уехал уже навсегда, *на восток*.

Забегая вперед, надо сказать, что до самого марта 1917 года, до дней Февральского переворота, Митропольский опубликовал свыше ста стихотворений (из них лишь до начала Первой мировой войны — как минимум шестьдесят), — в двухтомном его издании (Владивосток, 2006) представлены только шесть. Если бы он собрал их в книгу… Ругали бы, наверное, но не было бы легенды о том, что поэт Несмелов взял да и возник из ничего весной 1920 году на берегу Тихого Океана. Многие поэты остались в литературе наследием и качественно, и количественно куда меньшим. А для будущего Арсения Несмелова это были только подступы к истинному искусству. Притом «футуристического» (за что пенял Несмелову Г. Струве) в этой сотне стихотворений в творчестве Митропольского до тех пор, пока поэт не оказался на Дальнем Востоке, не было ничего: это был крепкий, чисто московский поэт второго ряда.

Однако после «мятежа юнкеров» московский след поэта теряется. Как пишет сам поэт, «…уехав в 1918 году в Омск, назад не вернулся». Видимо, попал он все же не сразу в Омск: в Перми, в газете «Пермская земская неделя», в рожденственском № 40 (52) от 25 декабря, мы находим его восьмистишие «Падает с веток блестящий…». Правда, двумя годами ранее оно печаталось в московской «Нашей родине», и это всего лишь восемь строк, вероятно, записанных по памяти — но важен след, оставленный по дороге Восток: Пермь. Позже будет Курган, затем Омск, — и там, в газетах времен правительства адмирала Колчака, осенью 1919 года начнут появляться его новые, уже совершенно зрелые стихи. Но что характерно: ни одна строка из разысканного по периодике до 1920 года, не войдет впоследствии ни в один его авторский сборник. Едва ли потому, что он не помнил ни строки «старого». Вероятно, на берегу бухты Золотой Рог, как он сам пишет в мемуарах, он почувствовал себя другим человеком. И именно тогда под ставшим ныне знаменитым стихотворением «Интервенты» («Каждый хочет любить») он поставит новое имя — *Арсений Несмелов*.

Приказом от 1 апреля 1917 года подпоручик Митропольский, награжденный четырьмя орденами, — тремя Св. Станислава и одним Св. Анны III степени с мечами и бантом, — иначе говоря, «личный дворянин» — был отчислен из армии в резерв, приехал в Москву, где отца живым уже не застал, — и больше на Западный фронт не возвращался. В памятные дни 24 октября — 3 ноября 1917 года, во время «Восстания юнкеров», оказался на той стороне, на которой приказывала ему быть офицерская честь. Этим дням посвящены несколько его поздних рассказов и поэма

«Восстание», начатая в 1923 году *Арсением Несмеловым*, но в окончательном виде опубликованная лишь в 1942 году под псевдонимом *Николай Дозоров* (об этом псевдониме Митропольского речь еще пойдет). Поэма эта — редкий документ, созданный если и не по свежим следам, то по личным впечатлениям. О тех же событиях — но в обратной перспективе — вспоминает и маршал Свистунов в одноименном рассказе. Именно в эти дни офицер царской армии стал *белым* офицером. Судьба переломилась.

Историю отступления из Москвы в Омск и всё дальше на восток легко узнать из рассказов Несмелова, собранных во втором томе «Собрания сочинений» Несмелова (Владивосток, 2006). Читателю, быть может, интересно будет узнать, что в сентябре 1918 года в Кургане Митропольский служил «в 43 полку и стоял на квартире у маслодела Майорова»[11]. Дальше всё было донельзя прозаично:

> «Когда я приехал в Курган с фронта, в городе была холера. Вечером я пришел домой и сказал, что чувствую себя плохо. Сел на крылечке и сижу. И не понимаю, чего это Анна Михайловна так тревожно на меня посматривает. Потом ушел к себе в комнату и лег спать. Проснулся здоровый и, как всегда делаю утром, запел. Потом Анна Михайловна говорит мне: „А уж я-то боялась, боялась, что у вас начинается холера. Утром слышу: поет. Ну, думаю, слава Богу, жив-здоров“. Из Кургана я уехал в Омск, назначили меня адъютантом коменданта города».[12]

Впрочем, в Омске Несмелов (ставший уже поручиком, — надо помнить, что и сам Колчак превратился из контр-адмирала в адмирала там же) тоже писал стихи и, подписываясь Арс. М-ский, печатал их в местных газетах «Русская армия» и «Наша армия», (последняя носила гордый подзаголовок: «Газета военная, общественная и литературная»); несколько стихотворений «омского» периода перепечатывается в нашем издании. Надо сказать, что почерк поэта к этому времени уже сложился, его главная — военная — тема, немалая пластичность стиха были уже и тогда налицо. Некоторые из этих стихотворений позднее появлялись под именем Арсения Несмелова, но Митропольскому еще предстояло *довоевать* — впереди было отступление, Ледовый поход, Новониколаевск, Иркутск, Чита и поезд, через Маньчжурию увезший Митропольского во Владивосток. Как констатировал поэт в начале 1930-х годов, «Арсений Несмелов родился именно в этом городе, когда местная газета „Голос

Родины“ впервые напечатала стихотворение, так подписанное»[13].

Случилось это 4 марта 1920 года[14]. Стихотворение называлось «Соперники», позднее вошло в сборник «Полустанок» под заголовком «Интервенты». Неожиданная судьба постигла это стихотворение уже в наше время, когда чуть ли не ежедневно во время «югославского конфликта» голос Валерия Леонтьева звучал из каждого радиоприемника[15]:

> Каждый хочет любить, и солдат, и моряк,
> Каждый хочет иметь и невесту и друга,
> Только дни тяжелы, только дни наши вьюга,
> Только вьюга они, заклубившая мрак.

Автор текста — Арсений Несмелов — упоминался, стихотворение было сокращено и слегка переделано «в духе событий» («серб, боснийский солдат» превратилось, понятно, в «югославский солдат»), но как некогда «Над розовым морем вставала луна…» служило визитной карточкой Георгия Иванова (даром что пел-то Вертинский), так и «Каждый хочет любить…» в иные дни — восемьдесят лет спустя! — неожиданно стало визитной карточкой Несмелова. Может быть, не такое уж и важное событие, но интересно то, что это было именно первое стихотворение, подписанное псевдонимом Арсений Несмелов. Именно там, тогда и так родился поэт.

В короткой автобиографии (1940) весь свой путь из Москвы до Владивостока Арсений Несмелов уложил в одну фразу: «Уехав в 1918-ом году в Омск, назад не вернулся, а вместе с армией Колчака оказался во Владивостоке, где и издал первую книгу стихов»[16]. Скупо, но всё остальное Несмелов рассказал в стихах и в прозе. После убийства Колчака и распада Белой армии высоко нести чье-либо знамя офицер Митропольский более не мог, да и не видел в том нужды. В неизданных полностью по сей день воспоминаниях дальневосточный поэт и прозаик Всеволод Никанорович Иванов (тот, которому посвящены стихотворения Несмелова «Разведчики» и «Встреча первая»), рассказывая о развале собравшейся вокруг Омска армии, обронил фразу: «Крепла широко разошедшаяся новость, что офицерство может служить в Красной Армии в качестве военспецов — ведь я и сам ехал из Москвы с такими офицерами в 1918 г. К чему тогда борьба?» Однако и сам Иванов, в феврале 1945 года по доброй воле и вполне безболезненно перебравшийся через Шанхай в СССР, сознавался, что вернулся лишь тогда, когда обрел «идеологию». А о тех давно минувших годах вспоминал очень

подробно (усиленно стараясь не проронить ни слова о четверти века жизни в эмиграции). И очень характерно такое его позднейшее примечание к этим воспоминаниям:

> «Уже много лет спустя после описываемых этих времен, уже будучи в Москве, вел я разговор с покойным писателем А. А. Садовским, бывшим когда-то в Сибири и собиравшим материал по „колчаковщине“. Он спросил меня, по обыкновению смотря зорко, как всегда, — через очки:
>
> — В.Н., а какова же была у вас тогда идеология?
>
> — Никакой! — ответил я.
>
> Он даже качнулся назад.
>
> — Невозможно!
>
> А между тем это была истинная правда. Идеология, жесткая, определяющая, была только у коммунистов. Она насчитывала за собой чуть не целый век развития. А что у нас было? — Москва „золотые маковки“? За три века русской государственности никто не позаботился о массовой государственной русской идеологии»[17].

Тут Иванов, конечно, перехватил, но к Несмелову формула «полное отсутствие идеологии» в смысле журналистики тоже применима (не путать идеологию с офицерской честью и убеждениями). В воспоминаниях «О себе и о Владивостоке» очень весело описано, как побывал поэт главным редактором «японского официоза» — газеты «Владиво-Ниппо» и по заказу японских хозяев ругал «не только красных, но и белых». Между тем именно Несмелов едва ли не первым понял, что японская оккупация Приморья вызвана отнюдь не борьбой с красными партизанами: «Он угадал, например, смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом»[18].

А стихи он писал с одинаковой легкостью, используя незаурядный импровизационный дар: и на смерть Ленина, и о красотах Фудзи, — ни того, ни другого Несмелов не видел, но стихи на заказ сочинял буквально за пять минут (как свидетельствовал в письме к автору этих строк Н. Щеголев). А для харбинских «русских фашистов» даже специального поэта создал, Николая Дозорова, и тот для них писал «стихи», используя преимущественно богатую рифму «фашисты — коммунисты» (или «коммунисты — фашисты», уж как ложилось). Впрочем, в длинных вещах, таких как поэма «Восстание», разница между «Несмеловым» и «Дозоровым» стиралась: незаурядное дарование все-таки не давало испоганить стихи до конца. Лучшим

доказательством тому — поэма «Георгий Семена́» (Г. В. Семена́ — исторические лицо, белый партизан, расстрелянный в СССР), вышедшая под псевдонимом «Николай Дозоров» в 1936 с жирной свастикой на обложке; местом издания книги обозначен… Берн, но наверняка располагался этот «Берн» на какой-нибудь Китайской, Тюремной или другой харбинской улице, если не в пригороде с чудесным названием Нахаловка. Впрочем, поэму мы воспроизводим — поэзия в ней есть. В отличие от сборника «стихотворений» «Только такие!», вышедшего в том же году и под тем же псевдонимом в Харбине с предисловием фюрера харбинских фашистов К. Родзаевского. Интересующиеся могут найти сборник в первом томе несостоявшегося «Собрания сочинений» Арсения Несмелова, предпринятого по методу репринта в США в 1990 году (издательство «Антиквариат»). Стихотворения «1905-му году» и «Аккумулятор класса» также оставлены за пределами владивостокского издания[19], хотя и были они подписаны именем Несмелова. Наконец, уж совсем невозможное прояпонское стихотворение «Великая эра Кан-Дэ» (подписанное А. Митропольский) оставлено там, где было напечатано[20], — по не поддающимся проверке данным сочинил это произведение автор за всё те же пять минут и получил гонорар в «100 гоби» (нечто вроде 50 долларов, если пересчитать с денег марионеточного государства Маньчжу-Ди-Го), на радостях даже к Родзаевскому в его кукольную фашистскую партию вступил. Это были большие деньги: 100 гоби за 20 строк! Для сравнения можно вспомнить, что как редактор «Рупора» Несмелов получал 120 гоби в месяц. Впрочем, для литературы все эти произведения и факты значения имеют меньше, чем рифмованные объявления, которые Несмелов вовсе без подписи сочинял для газет. В хранящейся в Хабаровске анкете в графе «Политические убеждения» он написал прямо: *фашистские*. Факт, упущенный фашистологом Буяковым, — однако в советском Владивостоке или на допросе у японцев Митропольский тоже написал бы то, что ему велели. Мы не знаем, какие методы допроса применялись к нему следователями.

А если углубляться в вопрос об идеологии, то она у поэта все-таки была. В 1937 году, в «Рассказе добровольца»[21], он писал: «Российская эмиграция за два десятилетия своего бытия прошла через много психологических этапов, психологических типов. Но из всех этих типов — один неизменен: тип добровольца, поднявшего оружие против большевиков в 1918 году. Великой бодростью, самоотвержением и верою были заряжены эти люди! С песней шли они в бой, с песней били красных, с песней и погибали сами». В том же году, в рассказе «Екатеринбургский

пленник»[22], он говорит о времени еще более раннем: «Конечно, все мы были монархистами. Какие-то эсдеки, эсеры, кадеты — тьфу! — даже произносить эти слова противно. Мы шли за Царя, хотя и не говорили об этом, как шли за царя и все наши начальники». Если прибавить сюда пафос таких стихотворений, как «Цареубийцы», «Агония» и многих других, то вывод будет краток: Арсений Митропольский был монархистом, как того и требовала офицерская честь. Что, впрочем, не мешало поэту *Арсению Несмелову* печататься и у эсеров, и у большевиков и, уж точно не роняя поэтического дара, в сионистском харбинском журнале «Еврейская жизнь».

Вернемся, однако, во Владивосток, который во времена недолгого существования ДВР (Дальневосточной республики) превратился в довольно мощный центр русской культуры. Так же, как в расположенной на другом конце России Одессе, возникали и тут же прогорали журналы и газеты, особенно процветала поэзия: и Владивосток, и Одесса, несмотря на оккупацию, не желали умирать — это всегда особенно свойственно приморским городам. В начале 1918 года в бухту Золотой Рог вошел сперва японский крейсер, потом английский. И до осени 1922 года в Приморье советской власти как таковой не было: книги выходили по старой орфографии, буферное государство ДВР праздновало свои последние именины. Волей судьбы там жили и работали В. К. Арсеньев, Н. Асеев, С. Третьяков, В. Март и другие писатели, так или иначе «воссоединившиеся» затем с советской литературой. На первом сборнике Несмелова, носившем непритязательное название «Стихи» (Владивосток, 1921), отыскиваются — на различных экземплярах — дарственные надписи, среди них, к примеру, такая: «Степану Гавриловичу Скитальцу — учителю многих» (РГАЛИ, фонд Скитальца). Очевидно, себя Несмелов причислить к ученикам Скитальца не мог. Довольно далеко стоял от него и Сергей Алымов, в те же годы прославившийся в Харбине (а значит, и во Владивостоке: настоящей границы между ДВР и Китаем не было, зато была КВЖД) своим очень парфюмерным «Киоском нежности». Учителями Несмелова, всерьез занявшегося поэзией под тридцать, — в этом возрасте поэты Серебряного века уже подводили итоги, — оказались сверстники, притом бывшие моложе него: Пастернак, Цветаева, Маяковский.

В первом сборнике у Несмелова немало незрелых вещей, — притом незрелых совсем, даже по сравнению с напечатанными в 1912–1917 годы в Москве. А ведь сейчас этих стихотворений выявлено не шесть (как было во Владивостокском двухтомнике 2006 года) — а много более сотни: Митропольский, став

Несмеловым, похоже, начисто забыл о самом их существовании. О стихотворениях сборника 1921 года, не обращая внимания на остальные, бывший главный специалист по русской литературе в изгнании Глеб Струве писал как о «смеси Маяковского с Северяниным» (в более позднем творчестве Несмелова Струве усматривал сходство… с Сельвинским, но и это сопоставление остается на его совести). Ближе всех к Несмелову стоял в те годы, надо полагать, его ровесник Николай Асеев. В том же 1921 году во Владивостоке у него вышел сборник «Бомба» — по меньшей мере пятый в его творчестве, не считая переводных работ; он успел побывать в разных литературных кланах (в «Центрифуге» вместе с Пастернаком, а также среди кубофутуристов), съездил почитать лекции в Японию, да и во Владивостоке жил с 1917 года. В воспоминаниях Несмелов признается, что Асеев на него повлиял скорее фактом своего существования, чем стихами. Следы обратного влияния — Несмелова на Асеева — прослеживаются в творчестве Асеева куда чаще, в той же поэме «Семен Проскаков» (1927), где монолог Колчака кажется просто написанным рукой Несмелова, — но, так или иначе, контакт этот носил характер эпизодический. На страницах редактируемого им «Дальневосточного обозрения» Асеев назвал Несмелова «поседевшим юношей с мучительно расширенными зрачками»; несколько стихотворений Несмелова посвящено Асееву, который часто и охотно его в своей газете печатал. Видимо, все-таки именно Асеев первым обратил внимание на незаурядное дарование Несмелова. В статье «Полузадушенный талант»[23] Асеев отмечал изумительную остроту наблюдательности автора, его «любовь к определению», к «эпитету в отношении вещей», и подводил итог: «У него есть неограниченные данные». Впрочем, воспоминания об Асееве во время чумы 1921 года, свирепствовавшей во Владивостоке, и об отъезде будущего советского классика в Читу Несмелов оставил вполне критические и иронические[24].

Ехать дальше Владивостока Несмелову, не знавшему, к тому же толком ни единого иностранного языка, — всё, чему учили в Кадетском корпусе, исчезло из памяти, — явно не хотелось, ему хотелось жить в России, пусть в самом дальнем ее углу, «…во Владивостоке, / В одном из дивных тупиков Руси» (слова И. Елагина, уроженца Владивостока), до самой последней минуты. Но в октябре 1922 года победоносная армия будущего врага народа Иеронима Уборевича ликвидировала буферное государство и вступила во Владивосток. Скрыть свое прошлое Митропольский-Несмелов не смог бы, даже если бы захотел. Впрочем, на первое время он лишь попал под «запрет на

профессию» — бывший белый офицер, да еще редактор прояпонской «Владиво-Ниппо», потерял работу, поселился за городом в полузаброшенной башне форта и жил тем, что ловил из-подо льда навагу. Но, конечно, с обязательным визитом в комендатуру через короткие отрезки времени — бывший «комсостав белой армии» весь был на учете. Хотя просто литературным трудом заниматься не запрещали: печатайся, у власти пока дела есть более насущные. Ну, а потом… Какое было потом, мы все хорошо знаем.

В 1922 году Несмелов выпустил очередную книжку — поэму «Тихвин», а в 1924 году, буквально накануне бегства в Китай, он выпросил у типографа Иосифа Романовича Коротя, с которым, думается, так никогда и не расплатился, несколько экземпляров своего второго поэтического сборника, уже вполне зрелого и принесшего ему известность; это были «Уступы». (Заметим: И. Р. Короть и сам скоро обнаружился в Харбине, ему принадлежала та самая гостиница «Модерн», где последний раз в гриме Пьеро выступил А. Н. Вертинский). Несколько экземпляров Несмелов успел разослать тем, чьим мнением дорожил, — например Борису Пастернаку. И в письме Бориса Пастернака жене от 26 июня 1924 года, можно прочесть: «Подают книжки с Тихого океана. Почтовая бандероль. Арсений Несмелов. Хорошие стихи». В это время Несмелов и его спутники — художник Степанов (кстати, оформитель «Уступов») и еще двое офицеров уходили по маньчжурской тайге всё дальше и дальше в сторону Харбина, и шансов добраться до него живыми было у них очень мало.

Историю перехода границы Несмелов описывал несколько раз, и детали не всегда совпадают: видимо, ближе всего к истине версия, пересказанная в мемуарном цикле «Наш тигр», к нему же вплотную примыкает и сюжет рассказа «Le Sourire». Конечно, можно было рискнуть — остаться в СССР да и пересидеть беду (советскую власть), но соблазн был велик, а Харбин в 1924 году был еще почти исключительно русским городом. Покидая Россию, Несмелов мог дать ответ на вопрос, заданный несколькими десятилетиями позже другим русским поэтом, живущим в Калифорнии, Николаем Моршеном: «Но что захватишь ты с собой — / Какие драгоценности?» Стихотворением «Переходя границу» Несмелов наперед дал ответ на этот вопрос — конечно, брал он с собой в эмиграцию традиционные для всякого изгнанника «дороги и пути», а главное: «…Да ваш язык. Не знаю лучшего / Для сквернословий и молитв, / Он, изумительный, — от Тютчева / До Маяковского велик». Несмелов и впрямь ничего другого с собой не взял — ну, разве что десяток экземпляров «Уступов». Словом, ничего, кроме стихов.

Впрочем, об этом тогда еще никто не знал. В 1924 году, в четвертом номере журнала «Сибирские огни», выходившего в Новосибирске (точней — в Новониколаевске, ибо переименован город был лишь в 1925 году), опубликовал почти восторженную рецензию на «Уступы» поэт Вивиан Итин (1894–1938, расстрелян — уж не за то ли, что печатал в своем журнале белогвардейца?). Поскольку еще раньше одно стихотворение Несмелова «Сибирские огни» напечатали («Память» из «Уступов»), то и в 1927–1929 годах Несмелова в нем печатать продолжали — и стихи и прозу, в том числе «Балладу о Даурском бароне», поэму «Псица», наконец, рассказ «Короткий удар». После перепечатки того же рассказа в альманахе «Багульник» (Харбин, 1931) выдающийся филолог и поэт И. Н. Голенищев-Кутузов писал в парижском «Возрождении», что рассказ «не уступает лучшим страницам нашумевшего романа Ремарка»[25]. Что и говорить, о первой мировой войне можно много прочесть горького — и у Ремарка, и у Несмелова.

До Харбина Арсений Несмелов добрался, даже выписал к себе из Владивостока жену, Е. В. Худяковскую (1894–1988), и дочку, Наталью Арсеньевну Митропольскую (1920–1999). Впрочем, с семьей поэт скоро расстался; жена увезла дочку в СССР, сама провела девять лет в лагерях, а дочь впервые в жизни прочла стихи отца в 1988 году, когда в журнале «Юность» появилась (с невероятными опечатками, «сволочи» вместо «светочи» и т. д.) одна из первых «перестроечных» публикаций Несмелова. С личной жизнью у Несмелова вообще было неладно. В письме к П. Балакшину от 15 мая 1936 года отыскивается фраза, брошенная Несмеловым вскользь: «Есть дети, две дочки, но в СССР, со своими мамами». Многие данные говорят о том, что брак с Худяковской был для Несмелова вторым. Есть не совсем убедительные сведения о том, что первую жену Несмелова звали Лидией. И смутное воспоминание Натальи Арсеньевны, что как будто у отца была еще одна дочь. Мы так ничего и не узнали[26]. Впрочем, в биографии Несмелова неизбежно так и останется много пробелов. И того довольно, что удалось реконструировать биографию человека, не оставившего после себя ни могилы, ни архива, — зато удалось собрать его наследие, притом хоть сколько-то полно.

В первое время в Харбине Несмелов редактировал… советскую газету «Дальневосточная трибуна». Но в 1927 году она закрылась и, перебиваясь случайными приработками (вплоть до почетной для русского поэта профессии ночного сторожа на складе), Несмелов постепенно перешел на положение «свободного писателя»: русские газеты, русские журналы и альманахи

возникали в Маньчжурии как мыльные пузыри, чаще всего не заплатив ничего и никому. Но поэт-воин, временно ставший поэтом-сторожем, не унывал. Его печатала пражская «Вольная Сибирь», пражская же «Воля России», парижские «Современные записки», чикагская «Москва», санфранцисская «Земля Колумба» — и, судя по письмам Несмелова, еще десятки журналов и газет по всему миру, впрочем, норовившие печатать, но не платить. А с 20 августа 1926 года (дата выхода первого номера) в Харбине функционировал еженедельник «Рубеж»[27] (последний номер, 862, вышел 15 августа 1945 года, накануне вступления в город советских войск). Там Несмелов печатался регулярно, и именно там (да еще в газете «Рупор») платили хоть мало, но регулярно: в море зарубежья Харбин всё еще оставался русским городом, и в нем был русский читатель.

При этом Несмелова назойливым образом старались не замечать. Везде, кроме Китая, — хотя в парижском «Возрождении» (8 сентября 1932 года) в статье «Арсений Несмелов» И. Н. Голенищев-Кутузов писал: «Упоминать имя Арсения Несмелова в Париже как-то не принято. Во-первых, он — провинциал (что доброго может быть из Харбина?); во-вторых, слишком независим. Эти два греха почитаются в „столице эмиграции“ смертельными. К тому же некоторые парижские наши критики пришли недавно к заключению, что поэзия спит; поэтому пробудившийся слишком рано нарушает священный покой Спящей Красавицы. <…> Несмелов слишком беспокоен, лирика мужественна, пафос поэта, эпический пафос — груб. В парижских сенаклях он чувствовал бы себя как Одиссей, попавший в сновидческую страну лотофагов, пожирателей Лотоса». Надо отметить, что и сам Голенищев-Кутузов в Париже был «не совсем своим» — основным его местом жительства был Белград.

Так было в печати, хотя в письме Голенищеву-Кутузову Несмелов и иронизировал: «Адамовича я бы обязательно поблагодарил, ибо о моих стихах он высказался два раза и оба раза противоположно. Один раз — вычурные стихи, другой раз — гладкие» (письмо от 30 июня 1932 года). А собратья по перу о Несмелове все-таки знали, все-таки ценили его. Отзыв Пастернака приведен выше, а вот что писала Марина Цветаева из Медона в Америку Раисе Ломоносовой (1 февраля 1930 года):

> «Есть у меня друг в Харбине. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали всё само собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать невозможно, что — не нужно. На такие дали — только стихи. Или сны».

Имелся в виду, конечно, Несмелов: по меньшей мере одно письмо он от Цветаевой получил, сколько получила писем Цветаева от Несмелова — неизвестно, в ее раздробленном архиве их нет (по крайней мере, пока их никто не обнаружил). От Несмелова, как известно, архива не осталось никакого, так что письмо Цветаевой утрачено. Однако в письме в Прагу, к редактору «Вольной Сибири» И. А. Якушеву, 4 апреля 1930 года Несмелов писал: «Теперь следующее. Марине Цветаевой, которой я посылал свою поэму „Через океан“, последняя понравилась. Но она нашла в ней некоторые недостатки, которые посоветовала изменить. На днях она пришлет мне разбор моей вещи, и я поэму, вероятно, несколько переработаю».

Нечего и говорить, что разбора поэмы от Цветаевой Несмелов не дождался, однако не обиделся. 14 августа того же года он писал Якушеву: «Разбора поэмы от Цветаевой я не буду ждать. Она хотела написать мне скоро, но прошло уже полгода. Напоминать я ей тоже не хочу. Может быть, ей не до меня и не до моих стихов. Не хочу да и не имею права ее беспокоить. Она гениальный поэт». И в 1936 году Несмелов не уставал повторять (письмо к П. Балакшину от 15 мая 1936 года): «Любимый поэт — Марина Цветаева. Раньше любил Маяковского и еще раньше Сашу Черного».

Словом, литературное существование Арсения Несмелова было хоть и изолированным, но проходило отнюдь не в безвоздушном пространстве. Он писал стихи, рассказы, рецензии, начинал (и никогда не оканчивал) длинные романы, — словом, кое-как сводил концы с концами. Его печатали, его знали наизусть русские в Китае, но его известность простиралась лишь на Харбин и русские общины Шанхая, Дайрена, Тяньцзина, Пекина. Однако даже эти малые русские островки в «черноволосой желтизне Китая» были разобщены вдвойне, ибо в конце 1931 года Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и на этой части была образована марионеточная империя — государство Маньчжоу-Ди-Го, на территории которого оказался Харбин, так что даже шанхайские поклонники несмеловской музы формально жили «за границей». С приходом японцев и без того не блестящее положение русских в Маньчжурии ухудшилось — они были попросту не нужны Стране Восходящего Солнца. Законы ужесточались, за самое произнесение слов «Япония», «японцы» грозил штраф: предписано было говорить и писать «Ниппон» и «ниппонцы». И пусть не удивляется современный читатель, найдя такое написание в стихотворениях и рассказах Несмелова.

Но русских было все-таки много, труд китайцев-наборщиков стоил гроши, да и на гонорары авторам уходило не намного

больше, поэтому издатели всё еще многочисленных газет и журналов на русском языке продолжали получать прибыль и в тридцатые, и даже в сороковые годы. «Рубеж» платил за стихи гонорар пять китайских центов за строчку: сумма, на которую можно было купить полдюжины яблок или сдобных булочек. Прочие издания платили еще меньше. В результате на страницах русско-китайских изданий появлялись еще с конца 20-х годов «А. Арсеньев», «Н. Арсеньев», «А. Бибиков», «Н. Рахманов», «Анастигмат» и даже «Тетя Розга», хотя больше всех зарабатывал, конечно, некий «Гри»[28], сочинявший рифмованные фельетоны и рекламу. Разумеется, под псевдонимами скрывался всё тот же Митропольский-Несмелов, в котором дар импровизатора креп с каждым днем недоедания. По свидетельству довольно часто навещавшего его поэта Николая Щеголева, «на стихотворный фельетон „Гри“ он принципиально тратил ровно пять минут в день и, помню, однажды при мне сказал: „Подождите ровно пять минут, я напишу фельетон“, и действительно написал…»[29]

Начав зарабатывать рекламными стишками еще во Владивостоке, Митропольский-Несмелов постепенно «воспел» едва ли не всех врачей в Харбине, особенно зубных — видимо, они лучше других платили. И в итоге в печати то и дело мелькали такие, к примеру, перлы:

> Расспросив мадам Дорэ
> И всех прочих на дворе
> Относительно Сивре:
> — Что за спец?
> Мы узнали, что Сивре
> В марте, в мае, в декабре,
> В полдень, в полночь, на заре —
> Молодец![30]

Сивре был известным врачом, а по соседству жила гадалка мадам Дорэ. Но эта халтура была еще не худшим видом заработка. Брался Несмелов, по воспоминаниям В. Перелешина, и за редактирование стихотворений «другого врача, искавшего поэтического лаврового венка. Сборник стихов, им составленный, назывался „Холодные зори“. Досужие читатели (если не сам Несмелов) тотчас переименовали книгу в „Голодные зори“.

— Именно так. Я тогда очень нуждался. Мои зори были голодные»[31].

Подобная «журналистика», безусловно, на пользу поэту не шла, но позволяла не помереть с голоду, а иной раз продать за свой счет тиражом 150–200 экземпляров очередную книгу

стихотворений или поэму. Книги у Несмелова выходили регулярно — до 1942 года.

В 1929 году Несмелов выпустил в Харбине свой первый эмигрантский поэтический сборник (на титульном листе по ошибке было проставлено «1928») — «Кровавый отблеск». Интересно, что ряд стихотворений попал в него прямо из владивостокских сборников: прошлая, внутрироссийская жизнь была для поэта теперь чем-то интересным, но давно минувшим, оторванным, «…как пароход / От берега, от пристани отходит…», — это, впрочем, стихи Несмелова из его следующего сборника, «Без России» (1931). Попадали доэмигрантские стихи и в сборники «Полустанок» (1938) и «Белая флотилия» (1942). Цельность поэтического сборника была для Несмелова важнее необходимости опубликовать всё, что лежало в столе. Поэтому на сегодняшний день выявленные объемы его стихотворений, собранных в книги и несобранных, примерно равны. А ведь многое наверняка утрачено.

Одному только Несмелову удалось бы объяснить нам, отчего сотни разысканных на сегодня его стихотворений не были им включены ни в одну книгу. Думается, что иной раз стихи вполне справедливо казались ему «проходными», но скорее дело в том, что Несмелов чрезвычайно заботился о строгой композиции книги; к тому же он писал больше, чем в книги, издаваемые им на свои же гроши, могло поместиться. Не зря почти во всех его сборниках отсутствует страничка «Содержание»: как-никак на этой страничке можно было разместить еще одно-два стихотворения.

Сборник «Кровавый отблеск» вышел осенью 1929 года. Интересно, что заголовок Несмелов взял из Блока, две строки из которого — из стихотворения «Рожденные в года глухие…» (1914), посвященного Зинаиде Гиппиус, — привел в эпиграфе. Однако же у Блока было:

> Испепеляющие годы!
> Безумья ль в вас, надежды весть?
> От дней войны, от дней свободы
> Кровавый отсвет в лицах есть.

Две последние строки как раз и вынесены Несмеловым в эпиграф. Едва ли не сознательно Несмелов подменяет слово: вместо *отсвет* пишет *отблеск*. Заподозрить Несмелова в равнодушии к блоковской текстологии невозможно: в Харбине в 1941 году вышли «Избранные стихотворения» Блока (ровно сто стихотворений) — книга, составленная Несмеловым, снабженная

его же предисловием, и в ней это стихотворение стоит *третьим с конца*. Так что исказил Несмелов Блока в эпиграфе вполне преднамеренно.

«Кровавый отблеск» целиком посвящен темам войны и оккупации. Валерий Перелешин пишет: «Своих стихов Несмелов обычно не датировал [или ставил первые попавшиеся даты. — Е.В.], но его „Кровавый отблеск“ <…> — сплошное зарево гражданской войны, памятник ненависти и любви, холод прощания с землей, которая изменила своим идеалам»[32]. Это бросалось в глаза любому читателю, да и автор об этом знал. «У меня много стихов о войне. Всё это — 1918 год по рисунку и быту. Много, почти всё — Сибирь», — писал Несмелов Якушеву 13 сентября 1929 года, накануне выхода «Кровавого отблеска». Книга вышла чуть позже, а 14 августа 1930 года он писал ему же: «Здесь я продал около двухсот экземпляров и окупил издание с прибылью».

Видимо, эта «прибыль» и позволила поэту уже в следующем году издать большой и весьма сильный сборник «Без России». Эта книга — в значительной мере память о той минувшей России, где некогда жил поручик Митропольский и которая теперь для него затонула, словно Атлантида. Но здесь же мы находим и важнейшие для Несмелова стихи о гибели царской семьи, о водворившемся в Смольном «наркоме с полумонгольским лицом», о деградации одновременно и революции, и эмиграции. Подобные актуальные стихи в эмигрантской среде очень не одобрялись, и, прочитав эту книгу, понимаешь, насколько был прав И. Н. Голенищев-Кутузов в своем отзыве, приведенном выше. Кстати, и фраза А. В. Ревоненко в справке о Несмелове в единственной «советской» публикации Несмелова (в «Антологии поэзии Дальнего Востока», Хабаровск, 1967, о том, что за границей поэт «сохранял демократические убеждения» опиралась, видимо, на единственное в этом сборнике более или менее просоветское стихотворение «Россия отошла, как пароход…» Цензуру удалось обмануть, публикация «проскочила», а вот самому Ревоненко очень скоро пришлось складывать вещички и сматываться из любимого Хабаровска на другой конец необъятной России: в Сочи. И такие ссылки бывали в советское время, и прожил там Анатолий до самом смерти в 1995 году, работая на Сочинском телевидении. Если б не его помощь — куда бедней была бы первая «советская книга» Несмелова, вышедшая в Москве в 1990 году («Без Москвы, без России»).

Не считая поэм и книг «Дозорова», следующий по времени сборник Несмелова «Полустанок» (Харбин, 1938) — тонкая книга преимущественно о Харбине, своеобразный плач о городе,

некогда построенном русскими руками, но обреченном рано или поздно стать городом чисто китайским. Наконец, «Белая флотилия» (Харбин, 1942) — попытка выхода в мировую культуру и в новые темы (что намечалось и в «Песнях об Уленспигеле» в «Полустанке»), не теряя, впрочем, и прежних: первой мировой, гражданской войн, памяти о канувшей России. Но во всем мире шла война, и сборник долгое время оставался неизвестен за пределами Китая. Даже послать его по почте Несмелов мог разве что в Шанхай, своей ученице Лидии Хаиндровой, но и с ней переписка оборвалась в апреле 1943 года. Последние годы жизни Несмелова долгое время никак не реконструировались, но кое-что узнать удалось. Нашелся и неоконченный роман в стихах «Нина Гранина», который поэт с продолжениями печатал в «Рубеже», — едва ли шедевр, но свидетельство негаснущего таланта, неунывающего духа.

Впрочем, бывало по-разному. Е. А. Сентянина (1892–1980), журналистка, мать поэта В. Перелешина, уехавшая из Харбина лишь в апреле 1950 года, вспоминала, что в 1944 или даже в 1945 году поэт собирался издать еще одну книгу стихотворений — «даже бумагу закупил», но потом впал в апатию и идею забросил. Тому есть подтверждение: в № 26 журнала «Рубеж» за 1943 год отыскалось стихотворение «Начало книги», явно предполагавшееся как вступительное к тому самому, так и не изданному последнему сборнику Несмелова (о его возможном названии мы даже предположений не можем строить) этой книги нами разыскана. Часть наверняка пропала. Часть, видимо, была задумана, но так и не написана: времени оставалось уже очень мало.

Писал Несмелов отнюдь не одни стихи — он писал, как обмолвился в стихотворении конца 1920-х годов, «рассказы и стихи в газете». Причем прозу он писал тоже с юности, — напомним, московские «Военные странички» 1915 года в основном из репортажно-беллетризованной фронтовой прозы и состояли. Стихи Несмелов писал как поэт, прозу — как журналист, и трудно представить его сочиняющим какой бы то ни было рассказ иначе, как для печати. Об участи эмигрантского писателя Несмелов обмолвился в отрывке из несостоявшегося романа «Продавцы строк» («Ленка рыжая»), обмолвился об «убогой и скудной жизни, служа которой, люди отказываются даже от самого последнего, от своих человеческих имен, и облекают себя в непромокаемый макинтош псевдонимов». Сохранились и отрывки романа на античные темы. Между тем образования он в жизни недополучил, точней, получил он его ровно столько, сколько могло оказаться у выпускника

Нижегородского Аракчеевского корпуса. Его попытки писать на сюжеты древнеримской истории читать не совсем ловко — снова и снова повторяемые пересказы Светония и «Камо грядеши» Генрика Сенкевича утомят кого угодно. Но когда материалом рассказов был собственный жизненный опыт Несмелова — тут его талант поднимался до больших высот. Причем единственная книга его прозы «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936), вместившая семь новелл, отразила лишь одну грань его дарования, да и отбор в ней был не слишком продуман (на ту же тему у Несмелова еще сотня рассказов набралась бы), кроме, пожалуй, уже почти превратившегося в классику военной новеллистики рассказа «Короткий удар». Первая публикация рассказа имела места в 1928 году в литературно-художественном и научно-общественном журнале «Сибирские огни». Новосибирск, 1928; книга пятая (сентябрь-октябрь). с. 41–61. По той публикации, видимо, что была в «Багульнике», в Париже ознакомился с рассказом И. Н. Голенищев-Кутузов, и прямым текстом сравнил его со знаменитым романом Ремарка «На западном фронте без перемен».

Об этом рассказе Несмелова необходимо кое-что рассказать. Одно лишь его комментирование заняло у автора этих строк два десятилетия, и частью этот комментарий стоит привести. За расшифровку имен в этом рассказе приношу глубокую благодарность офицеру и военному историку И. Л. Рыжову (Г. Уссурийск). При внимательном изучении текста выяснилось, что рассказ документально точен: однако герои его не странноватые генералы Нилов и Арликов, а… скажем так, другие люди. Если генерал Гурко — лицо реальное[33], то дальше начинаются неожиданности. Присмотримся: Гурко «… *вызвав к телефону комкора 25-го генерала Нилова, категорически приказал*…» — перед нами нередкий для Несмелова случай подмены фамилии; хотя подлинные имена все же распознаются. Под именем «*генерала Нилова*» имеется в виду впоследствии прославленный генерал Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918), ибо именно он в сентябре 1916 отбыл на фронт и был назначен командиром 25 армейского корпуса Особой армии генерала В. И. Гурко (Юго-Западный фронт). Именно биография Нилова «один в один» соответствует строкам в рассказе Несмелова: «…*голова эта принадлежала генералу, решившемуся на авантюристическое бегство из немецкого плена*»: исторический факт: попавший в австрийский плен в апреле 1915 года, в июле 1916 года Л. Г. Корнилов бежал из лагеря для пленных под Веной; вернулся в русскую армию; в сентябре 1916 снова отбыл на фронт и назначен командиром именно XXV армейского корпуса Особой армии

генерала В. И. Гурко; в рассказе есть и ряд других косвенных указаний на личность именно Л. Г. Корнилова, к примеру, «*монгольские черты*» генерала видны на любой его фотографии; по подлинным родителям Л. Г. Корнилов был чистокровный калмык. Подмена фамилии (Кор-Нилов) не единственная: в конце рассказа упоминается «*наштакор, толстопузый, добродушный генерал Арликов*»: под этим именем у Несмелова выведен Вячеслав Александрович Карликов (1871–1937) — царский офицер, участник Первой мировой войны, генерал-майор Генерального штаба; на момент, описываемый в рассказе с 29.07.1916 по 11.04.1917) начальник штаба все того же 25-го армейского корпуса[34]. Замена фамилии «Корнилов» на «Нилов» «отводила глаза» читателям: реально существовал генерал Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919)[35], — а также другой генерал Нилов — Иван Дмитриевич (1859–1933)[36]. Наконец, к «неупоминанию» имени Л.Г. Корнилова именно на Дальнем Востоке имелся дополнительный повод: от случайного попадания гранаты Лавр Георгиевич Корнилов погиб 31 марта (13 апреля) 1918 при штурме Екатеринодара; после нового занятия города большевиками труп генерала был опознан и осквернен. Хотя среди историков нет единого мнения — тело Корнилова или кого-либо иного было осквернено, но на Дальнем Востоке бытовала именно такая версия «посмертной трагедии» Л. Г. Корнилова: там были опубликованы воспоминания некоего штабс-капитана А. Тюрина («Последние известия Верховного Главнокомандующего и осведомительного бюро штаба округа», июль 1919 г. издание предназначалось руководству Приамурского военного округа)[37]. Еще одним обстоятельством «неупоминания» подлинной фамилии Л. Г. Корнилова могло быть и нежелание поручика Арсения Митропольского бросать тень на доброе имя своего прямого командира, погибшего РОВНО ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ до публикации рассказа. Если углублятся и в поэзию Несмелова, и в его прозу — можно ненароком набрести и на такие вот почти археологические открытия.

Московское кадетское детство, окопная война, восстание юнкеров в Москве, Ледовый поход, Приморье времен ДВР и первых лет советской власти, наконец, быт изрядно захолустного Харбина (который в первые годы даже трудно было назвать эмигрантским — просто кусок старой русской провинции) — всё шло в дело. Притом пережитое самим Митропольским в этих рассказах резко отлично от знаемого по чужим рассказам или вымышленного: «свое» повторялось много раз, ибо, как уже говорилось, дара «фантазирующего писателя» Несмелов был лишен начисто. Даже дата гибели одного из героев в рассказе

«Два Саши» — это дата ранения самого Митропольского: «И был он убит 11 октября [1914 г. — Е.В.] под Новой Александрией, когда русские войска переходили через Вислу, чтобы затем отбросить врага до самого Кракова»[38]. Впрочем, на роль «фантаста» среди прозаиков русского Китая мог претендовать разве что Альфред Хейдок, да и то лишь до встречи с Н. Рерихом в 1934 году — после этого проза Хейдока из художественной превратилась в чисто теософскую. Николай Байков, как в прежние годы, оставался блистательным писателем-анималистом. Из младших прозаиков выделился Борис Юльский, но тоже в первую очередь как «Джек Лондон русского Китая» — в его рассказах тигров порою не меньше, чем людей. Несмелов же в мемуарной повести «Наш тигр» порадовался именно тому, что никакого тигра в тайге так и не встретил. Ему хватало собственной судьбы, его тревожило прошлое, он повторялся, но, трижды и четырежды рассказав одну и ту же историю, иной раз вдруг создавал настоящий шедевр: похвалы Голенищева-Кутузова имели под собой почву. Пусть через силу и по необходимости, но из Несмелова вырос незаурядный новеллист: примерно половина выявленного на сегодняшний день его прозаического наследия вполне достойна переиздания. Таким рассказам, как «Всадник с фонарем», впору стоять в любой антологии русской новеллы XX века, — между тем именно этот рассказ (как и еще более тридцати) переиздается в нашем издании впервые.

К началу 1930-х литературный авторитет Несмелова в русских кругах Китая был весьма велик, но обязан им он был совсем не книгам, вышедшим еще в России, — о них мало кому было известно вообще: популярностью пользовались в основном его публикации в периодике и книги, изданные уже в Китае. Но у Несмелова сложилась репутация поэта — почти единственного в Китае русского поэта с немалым доэмигрантским стажем. Уехали в СССР Сергей Алымов, Венедикт Март, Федор Камышнюк, некоторые умерли, к примеру Борис Бета или Леонид Ещин, друг Несмелова, которого тот сделал героем нескольких рассказов, на смерть которого написал не только некролог, но и одно из лучших стихотворений. Остальные поэты с «доэмигрантским» стажем в Китае пребывали в почти полной безвестности: талантливейший Евгений Яшнов (1881–1943), живший литературными заработками с 1899 года, Александра Серебренникова (1883–1975), больше известная слабыми переводами из японской поэзии, наконец, старейшим среди них был Яков Аракин (1878–1949), печатавшийся с 1906 года, но в Харбине никем всерьез не принимавшийся. Один Василий Логинов (1891–1945/6), печатавшийся с 1908 года, как-то мог бы

конкурировать с Несмеловым… если бы у этого запоздалого наследника музы Гумилева было больше поэтического таланта.

Не стоит, впрочем, преуменьшать культуру Несмелова: хотя иностранные языки со времен кадетского корпуса поэт и подзабыл, в одежды певца «от сохи» (или даже «от револьвера») он никогда не рядился. При анализе его поэмы «Неронов сестерций» выявляется основательное знакомство автора не столько с русским переводом «Камо грядеши» Сенкевича, сколько с «Жизнью двенадцати цезарей» Светония, с писаниями Тацита, читанными, конечно, тоже в переводе на русский язык, но и это для поэта-офицера немало. В работе над «Протопопицей» Несмелов, которого навела на тему «огнепального протопопа» история его ссылки в Даурию, прослеживается не только «Житие» Аввакума, но и другие писания XVII века — письма «пустозерских старцев», сторонние исторические источники. Причем с годами тяготение к культуре росло: Несмелов перелагал «своими словами» Вергилия, переводил с подстрочников, которые делала для него добрейшая Мария Лазаревна Шапиро (1901–1962, в будущем узница ГУЛАГа), Франсуа Вийона; и это не в пронизанной культурными традициями Западной Европе, а в заброшенном (с точки зрения Европы) на край света Харбине.

Однако именно ко времени японской оккупации Маньчжурии русская литература Китая получила мощное подкрепление, причем не только в области поэзии. Сравнительно молодой казачий офицер, хорунжий Сибирского казачьего войска Алексей Грызов, — как и Несмелов, ушедший из Владивостока в эмиграцию чуть ли не *пешком* (правда, сперва в Корею), — взявший литературный псевдоним по названию родной станицы — Ачаир, организовал в Харбине литературное объединение «Чураевка», получившее свое название от фамилии Чураевых, героев многотомной эпопеи сибирского писателя Георгия Гребенщикова. Ачаир выпустил первую книгу стихотворений в Харбине в 1925 году, дав ей одно из самых неудачных в истории русской поэзии названий — «Первая». Поэтом он был не особенно ярким и на редкость многоречивым, но организатором оказался хорошим. Именно в «Чураевке» получили первые затрещины и первые — скупые — похвалы молодые харбинские поэты, о которых помнит ныне история русской литературы. Молодые «чураевцы» — либо харбинцы, либо люди, привезенные в Китай в детском возрасте, как Валерий Перелешин, — были в среднем лет на двадцать моложе Несмелова. Он годился им в отцы, в учителя. Поэтесса и журналистка Ю. В. Крузенштерн-Петерец в статье «Чураевский питомник»[39] писала о «чураевцах»: «…у них были свои учителя: Ачаир, Арсений Несмелов, Леонид Ещин…» На деле

было всё же несколько иначе: от роли «арбитра изящества» на харбинском Парнасе Несмелов уклонялся категорически, хотя рецензировал издания «чураевцев» — как газету, так и коллективные сборники и немногочисленные авторские книги, когда таковые стали появляться, — и тем более не отказывал поэтам в личном общении. Та же Ю. В. Крузенштерн-Петерец отмечала: «Поэзию Несмелов называл ремеслом, а себя „ремесленником“ (явно под влиянием любимой Цветаевой)». Именно ремеслу могла бы у него поучиться молодежь, если бы хотела. Однако для харбинской молодежи, как и для читающего русского Парижа, Несмелов был слишком независим. Над последней строфой его поэмы «Через океан» кто только не потешался, — но пусть читатель глянет в текст, вспомнит последние полтора десятилетия XX века и скажет, был ли повод для смеха и кто же в итоге оказался прав.

К сожалению, большинству «чураевцев» поэтическое ремесло, даже если оно давалось, удачи не принесло, всерьез в литературе закрепились очень немногие. Те, кто позднее — через Шанхай — возвратились в СССР, обречены были радоваться уже тому, что местом поселения им определяли не глухую тайгу, а Свердловск или Ташкент. Авторская книга стихотворений из чураевских возвращенцев вышла, насколько известно, у одной Лидии Хаиндровой в Краснодаре в 1976 году. Чаще других из молодых поэтов наведывался к Несмелову, пожалуй, Николай Щеголев (1910–1975), умерший в Свердловске, лишь незадолго до смерти предприняв безрезультатную попытку вернуться к поэзии. Несколько раз посещал его Валерий Перелешин, которому Несмелов предрекал блестящее будущее, что в известном смысле и сбылось, хотя очень поздно: судьба забросила Перелешина в Бразилию, где он на десять лет замолк и лишь в 1970-е, особенно же в 1980-е годы вышел в первый ряд поэтов русского зарубежья. Но сам Перелешин считал, что на путь в поэзию его благословил именно Несмелов. Он пишет: «Кажется, только один раз Несмелов был в доме у меня — в доме моей матери в Мацзягоу <…>. В тот раз Несмелов, прислонившись к чуть теплому обогревателю (из кухни), читал нам свои „Песни об Уленспигеле“ — читал просто, без актерской аффектации, ничего не подчеркивая. Его чтение стихов я слышал еще раз или два — на торжественных собраниях, которыми „Главное Бюро по делам Российских Эмигрантов в Маньчжурской Империи“ чествовало победителей на литературных конкурсах. Но лично его не любили ни редакторы, ни примазавшиеся к японским хозяевам русские эмигранты: слишком он был независим, слишком сознавал собственный вес, казался надменным»[40].

Насколько близки были к Несмелову другие поэты Чураевки — Ларисса Андерсен, Михаил Волин, Георгий Гранин, Николай Петерец, Владимир Померанцев, Сергей Сергин, Владимир Слободчиков и т. д., — сказать трудно. Впрочем, Волин опубликовал воспоминания о Несмелове[41], но ничего принципиально нового не сообщил. Когда, в противовес «Чураевке», в Харбине возникло другое объединение — «Круг Поэтов», Несмелов остался в стороне и от него. По крайней мере, до 1940 года «организованным» воспитанием молодежи Несмелов пренебрегал. Позже ситуация изменилась, но это уже были годы второй мировой войны, совсем иные годы.

Печален и длинен мартиролог «Чураевки» (и «Молодой Чураевки») тоже. Покончили с собой в 1934 году в харбинском отеле «Нанкин» Гранин и Сергин. Десятью годами позже умер от воспаления легких в Шанхае Николай Петерец. В Кемерово в 1985 году умер совсем выпавший из литературы Владимир Померанцев, в 1993 году в Лондоне — Елизавета Рачинская, в Сан-Франциско умерла в 1994 году Мария Визи, в Аделаиде в 1997 году — Михаил Волин, удержавшийся в изящной словесности, но лишь едва-едва, — впрочем, оставил краткие мемуары о «Чураевке». В 1998 году в Нью-Йорке (по косвенным сведениям, в приюте для слепых) умерла поэтесса Наталья Резникова. Умер в США в 2005 году — иначе говоря, в XXI веке — и младший брат Валерия Перелешина, Виктор Ветлугин, давно забросивший стихи. Встретил в Москве в добром здравии наступление XXI века Владимир Слободчиков, — он довольно активно печатался в 2003–2005 годах и в России и в США, а умер в Москве в 2007 году. На юге Франции, в Ле-Пюи скончалась 29 марта 2012 года Лариса Андерсен, если и не бывшая крупным поэтом, но оставившая значительный след в литературе одним тем, что ее просто любили. Так что ныне второе десятилетие XXI века благополучно встретила в Австралии давно отпраздновавшая девяностолетие одна лишь двуязычная поэтесса Нора Крук (урожденная Элеонора Марионовна Кулеш, дочь редактора шанхайского журнала «Эпоха»), уроженка Харбина (р. 1920), прожившая к Китае (в Гонконге, точней) дольше всех — до 1975 года. Ей, последней ныне и торжествовать «День Лицея». Но — не такой уж незаметный был это для России Лицей. Поодиночке его воспитанники создали очень немного, но память о «Чураевке» как цельном явлении будет жить по крайней мере в истории. Вспомнится и то, что из нее вышел Валерий Перелешин, что на ее заседаниях бывал Арсений Несмелов.

Несмелов коротал свои поздние харбинские годы не за одной лишь литературной поденщиной, не только за серьезной поэзией,

прозой, критикой или даже статьями по стиховедению. В свободное время, пыльным харбинским летом, он предавался любимому занятию: на «движимой собственности» (выражение самого Несмелова), лодке «Удача», уплывал он по Сунгари подальше от Харбина и ловил рыбу вместе с другом — Николаем Гаммером[42], служившим в харбинской газете «Заря», и «Герасим Антипас»[43] помогал скоротать оставшееся время. Зимние будни были, конечно, не так хороши: сплошная журналистика, деловая и дружеская переписка, редчайшие встречи с очень немногими боевыми друзьями (см. стихотворение «В гостях у полковника») — и собственно литература, вперемежку с поденщиной. Будни эти были полны еще и одиночеством. Очередной брак его с Анной Кушель распался — видимо, не только по вине поэта; друзья и ровесники исчезали один за другим — из Харбина, из Шанхая, из жизни. Много было и недругов: даже почти беспрепятственно печатавший его стихи, рассказы и рецензии главный редактор «Рубежа» М. С. Рокотов (Бибинов) откровенно признавался, что стихи Несмелова ему не нравятся, а как человек он ему просто неприятен — «циник». Впрочем, более проницательная Ю. В. Крузенштерн-Петерец в цитированной выше статье отмечала: «… под маской циника Арсений Несмелов прятал в себе романтика: романтик в нем никогда не умирал». А Несмелов, вступивший в последнее десятилетие своей жизни, отлично знал, что как поэт он состоялся, а больше… больше ничего не будет. Как сказал он сам Е. А. Сентяниной в конце войны: «Ничего больше не будет. Субмарина затонула», — имея в виду свое стихотворение из последней книги. Тем не менее, погружаясь в последние пропасти отчаяния и явно предчувствуя, что *отсрочка* на исходе, он не переставал писать.

Одно время его обуяли «бонапартистские» иллюзии. Ему мерещилось, что в СССР рано или поздно кто-нибудь из новоявленных «маршалов» возьмет да и смахнет Сталина, как фигурку с шахматной доски. Талантливый прозаик Борис Юльский, которого еще предстоит открывать нашему читателю, ровесник чураевцев и тоже жертва сталинских лагерей[44], нередко повторял строфу Несмелова:

> Тени смерти носятся недаром
> Над рекою Стикс.
> Дай Ты, Боже, силы командарму,
> Командарму Икс.

(Лет за десять или пятнадцать до того пражско-русскому поэту Алексею Эйснеру в стихотворениии «Возвращение» тоже

мерещился грядущий «… Красный Бонапарт Буденный…». Как ни печально, но советский Бонапарт тех времен уже царствовал в те годы, уже захватил свою долгую власть — и носил совсем иную фамилию).

Старые выходцы из Харбина говорят, что стихотворение было длинней, называлось «Командарм Икс»[45] и было посвящено фюреру ВФП Константину Родзаевскому. На командарма Родзаевский едва ли тянул, а вот какой-нибудь «Маршал Свистунов»… Именно из таких иллюзий родился одноименный рассказ, который у нынешнего читателя неизбежно вызовет грустную улыбку, — настолько нереально выписана Несмеловым гостиная маршала, где за тарелкой борща обсуждаются новейшие стихи Пастернака, где готовится военный заговор, — но есть в этом рассказе и крайне важный для понимания несмеловских мыслей разговор маршала со священником, которого неверующий маршал везет в подмосковное Пушкино к умирающей матери:

> «— Но „я“-то мое, если меня, например, расстреляют, не будет ведь существовать…
>
> — Тут уж вера. Я скажу: „Будет!“
>
> — Чтобы гореть в огне вечном, — перхнул маршал снисходительным смешком.
>
> Но священник глянул в его иронические глаза серьезно и строго.
>
> — Если вас расстреляют — нет! Все ваши земные грехи возьмут на себя те, кто вас убьет».

Имел в виду Несмелов Блюхера, Тухачевского или еще кого-либо из реальных маршалов (рассказ опубликован в печально памятном 1937-м) — не играет роли, получился всё равно типичный эмигрантский лубок на советскую тему. Однако ценность рассказа не ограничивается явно автобиографическими описаниями подмосковного Пушкина и обрывками воспоминаний о подавлении восстания юнкеров в Москве. Здесь важна мысль о том, что бывший кадровый офицер действительно не боялся насильственной смерти — он знал, что она-то и смывает грехи «вольные и невольные». Сейчас, когда со дня рождения Николая Гумилева давно идет второе столетие, теряет важность вопрос о том, участвовал ли Гумилев в каком-то заговоре и вообще — был ли заговор. Важно то, что Гумилев был расстрелян. Примерно такой видел Несмелов и свою смерть. Почти такой она и оказалась.

* * *

Японская оккупация 1931 года стала началом конца русской культуры в Харбине, но еще очень отдаленным ее началом. В 1934–1935 году Япония вынудила Советский Союз продать ей КВЖД, — в итоге все советские работники железной дороги должны были вернуться домой, где вскоре чуть ли не поголовно были репрессированы. В самом Харбине постепенно ликвидировалась с огромными усилиями созданная русская образовательная система, что, как пишет В. Перелешин в своих воспоминаниях, было «частью политики оккупантов в Маньчжурии». Оставались без работы профессора (иные — с очень громкими именами), теряли надежду на высшее образование студенты. Неуклонно сокращалось число рабочих мест, на которых могли быть заняты русские, в большинстве своем не знавшие ни японского, ни китайского (нередко и английского) языков. Русские уже с 1931–1932 годов понемногу стали уезжать из Харбина — в Тяньцзинь, в Пекин, но чаще всего в огромный и многоязычный Шанхай. Там русские были незаметны, там с 1935 года уже пел Вертинский, и флаг советского консульства соблазнял слабые души «возвращением на Родину». В Шанхае количество русских периодических изданий не падало, а росло, хотя по бедности шанхайские журналы гонораров почти не платили. Но там к причалам швартовались океанские пароходы, жизнь не была ограничена русско-китайско-японским миром, там была хоть какая-то надежда на будущее, и те, кто знал английский язык хотя бы немного, могли заработать на чашку-другую риса с морской капустой и соей, на койку где-нибудь на чердаке; и хотя бы не перекликались хунхузы в окружающих город зарослях гаоляна, как это было в Харбине, — словом, не так сильно слышался запах крови, огня, войны, вот-вот готовой грянуть от Британских морей до Пирл-Харбора.

Но Харбин, город с маньчжурским названием[46], построенный на китайской земле русскими инженерами, всё еще оставался русским городом: всё еще выходили еженедельный «Рубеж» и ежемесячный прояпонский «Луч Азии», да и другие русские периодические издания, где публиковались произведения многих авторов, к этому времени Маньчжоу-Го покинувших. Но жизнь становилась всё тяжелей. С Владимиром Евгеньевичем Кокшаровым (25.4.1921 — 9.9.1993) мне довелось переписываться с декабря 1988 года и почти до самой его смерти. С разрешения покойного писателя ниже будут использованы фрагменты нашей переписки.

Вот что вспоминал он о последних годах японской оккупации Харбина он, очевидец, русский писатель, в письме к автору этих строк: «Начиная с 1940 года все мы там стали жить тяжело и

безобразно, главным образом в моральном плане. Но и материально было нелегко. Хлеб — хоть наполовину из гаоляновой муки — люди получали по 500 граммов ежедневно на едока (по карточке, разумеется). Давали крупу, зернобобовые, растительное масло <…>. И вволю давали водку, хоть и не из хлебного спирта, но давали не скупо. Хотя таких трудностей с продовольствием, какие пришлось испытать людям здесь — в СССР во время войны, у нас там не было… Жили скудно, но в том обществе, где я вращался, — весело. С годами назревал перелом, и люди, которые вначале были настроены антисоветски, стали ярыми „оборонцами“. Японцев ненавидели большинство из нас — ненавидели слепо, за то, что они были оккупантами, не любя даже то, что было в них достойно уважения. Общественная жизнь в эти годы со скрипом, но шла. Были литературно-художественные кружки, литобъединения; одним из них руководил Арсений Иванович. Выпускали эти кружки и литературно-художественные альманахи, в основном машинописные. Японцы хотели эти литобъединения подчинить себе, но вовсе не всегда это выходило, лозунг „хакко ици у“ („мир — одна крыша“, разумеется, крыша японская) — поддержки у большинства не находил…» (В. Е. Кокшаров. Свердловск, 30 марта 1989).

Хоть и поразъехались из Харбина недавние «чураевцы», но во всё еще русском городе снова произошла смена литературных поколений: в литературу стали входить те, кто в «чураевские» времена начала 1930-х годов были еще детьми, — поколение тех, кто родился в первой половине 1920-х. Несмелов был старше этих людей больше чем на тридцать лет, и как раз с ними он стал искать общий язык. Процитированные выше воспоминания принадлежат человеку этого поколения, иначе говоря, одному из последних, кто общался с Несмеловым творчески. Хочется привести еще один отрывок из того же письма:

> «Некоторое время он руководил небольшой группой харбинских молодых поэтов, т. е. теми, кто сейчас такие же старики, как я, или немного помоложе. Году в 1943-м он провел с нами небольшое занятие по советской литературе. Мы его засыпали вопросами, ибо он, будучи зарегистрирован в Шестом отделе императорской японский Военной миссии, имел доступ к советской прессе. „Кто самый выдающийся из советских поэтов?“ — спросили мы. — „Разумеется, Константин Симонов, Самуил Маршак“. — „Маяковский, Есенин?“ — „Маяковский великий поэт, это я говорю искренне, хотя

меня он и не любил. А Есенин такой же советский поэт, как и я. И вообще запомните: современная советская литература — это наполовину фикция, высосанная из пальца… Лет через 40–50 будет настоящая русская литература, помяните мое слово! Или откроются старые имена, которых никто сейчас почти и не знает…“».

На вышедшем в Харбине сборнике «Белая Флотилия» Несмелов, направляя его в 1942 году жившей в Шанхае своей ученице, Лидии Хаиндровой, написал: «Как видите, я еще жив». Переписка их оборвалась весной следующего года. Несмелов продолжал жить привычной жизнью. О последнем годе его жизни можно прочесть несколько строк опять-таки в письме от того же корреспондента: Кокшаров пересказывает свою беседу с ним: «Подтверждаю большую чувствительность А. И. в отношении музыки. Я присутствовал в начале 1945 года, на собрании кружка молодых литераторов, музыкантов, художников. Почетным гостем на собрании был Арсений Иванович. Читал отрывки из своей большой поэмы[47] (названия не помню) о молодом поколении в Манчжурии еще дореволюционных лет. Поэма написана пушкинским ямбом (как „Евгений Онегин“), неплоха, по-моему, но такая вещь как „Протопопица“, конечно, гораздо сильнее. <… >. Попозже, когда, возвращаясь домой, мы шли не торопясь, я спросил его:

— Скажите, Арсений Иванович, вот вы создаете такие прекрасные стихи, любите великую музыку, и как Вы можете писать…

— Что, ты имеешь в виду стихи, посвященные памяти адмирала Колчака?

— Да нет, упаси Бог, — возразил я, — Ваши чувства к А. В. Колчаку я уважаю, нет. Я имею в виду стихи Дозорова или стихи для „Еврейской жизни“[48]. Как можно?..

— Эх, Володя, — с горечью сказал Несмелов, — ты ведь еще молодой (в 1945 г. Мне шел 24 год), у тебя все впереди… И работа, и профессия. А я уже стар и кроме скромного литературного дара у меня за душой ничего нет. Согласен, что писать, против убеждения, для Р.Ф.С. (Российский Фашистский Союз), для сионистов — скверно, но… есть-то что-то надо?! А уж раз мне заказали, то профессиональная честь не позволяет мне писать халтурно!

Вот такой разговор состоялся у меня с А. И. в конце января 1945 года» (В. Е. Кокшаров, 15 марта 1990 года).

Даже в свой последний год Несмелов не отрицал, что всю жизнь не отказывался писать на заказ: как видим мы теперь из

библиографий, для московских феминисток, приморских коммунистов, японских оккупантов, русских фашистов, харбинских сионистов. Он воспринимал это как заказную журналистику, а подлинные стихи попадали или в авторские сборники, или оставались вовсе неизданными. Совсем не скромным был его поэтический дар.

А потом «отсрочка» кончилась, и в Харбин вступили советские войска. Что было дальше, мы знаем.

* * *

«Бывают странными пророками / Поэты иногда…» — писал некогда Михаил Кузмин. Арсений Несмелов в начале 1940-х годов пообещал, что русская литература «будет» через 40–50 лет, хотя имен своих современников — Даниила Андреева, Сигизмунда Кржижановского, Сергея Петрова — он даже знать не мог, а именно они на сегодняшний день оказались гордостью русской литературы советского периода 1930-х — 1940-х годов. Сроки исполнились, предсказание сбылось очень точно. Сбылось и предсказание собственной смерти (стихотворение «Моим судьям»). Сбылось и предсказание своего бессмертия — о нем ниже. Увы, сбылись и другие его предсказания.

В 1904–1905 годах, когда на сопках Маньчжурии разворачивались события русско-японской войны, Митропольский еще учился в Кадетском корпусе. Под вальс Шатрова «На сопках Маньчжурии» пробежала его юность, звуки того же вальса проводили его на фронт в начале первой мировой войны. А позже весь остаток жизни провел он в самой настоящей Маньчжурии, в непосредственном соседстве с теми сопками, на которых «спит гаолян», спят «герои русской земли, отчизны родной сыны». Нежной любовью полюбил Несмелов последний город минувшей России, выстроенный русскими руками Харбин, но он же предвидел:

Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.

Действительность, пришедшая спустя «сколько-то летящих лет» после смерти Несмелова, оказалась похожей на кошмар. Грянула «культурная революция». «Хунвейбины маршировали по улицам, арестовывали, клеймили и били людей. В Харбине они за

несколько дней разнесли по бревнам Св. Николаевский Собор, возведенный еще построечниками Китайской Восточной железной дороги. В церковной ограде запылали костры из икон и церковных книг»[49]. На месте собора собирались воздвигнуть бронзового Мао Цзедуна, однако нынче там — клумба, и только. Впрочем, еще ранее, в 1963 году, путешественник Клаус Менарт[50] (1906–1984) описал свое посещение Харбина в 1957 году:

> «Пожалуй, Харбин был единственным городом в Маньчжурии, в котором по соседству с китайскими можно было видеть русские вывески. Однако в клубе Железнодорожного Собрания[51] на берегу Сунгари, некогда крупнейшем русском клубе, никаких русских я больше уже не видел; сотни юных китайцев танцевали там под западную музыку западные танцы. Существовал, впрочем, один символ старого времени: главный универмаг всё еще назывался „Чурин“ <…>. В Харбине проживало тогда в общей сложности 6200 русских, в основном пожилого возраста, и, кроме того, 600 — без советских паспортов».

Другой западный турист, посетивший Харбин семнадцатью годами позже (1974), констатировал, что в нем проживает не более сотни русских. Анжелика Батуева в очерке «Сибирские могикане»[52] (1995) пишет: «Сегодня в трехмиллионном китайском городе Харбине русская община насчитывает 12 человек — трое мужчин и девять женщин. Средний возраст русских харбинцев — 70–80 лет». Что осталось от этой общины к 2000 году — боюсь строить предположения. Мой соавтор по составлению нынешнего издания Ли Мэн писала мне в августе 2004 года из Чикаго: «В 1996 году, когда я была в Харбине, мне сказал священник православной церкви (он китаец), что русских первого поколения в Харбине 18, а второго — более 100. А года три назад даже сам священник умер». Хотя память о русских отчасти берегут сами китайцы: русский район города до недавнего времени хранил прежний вид, на фасадах были русские вывески. Впрочем, для китайского глаза это лишь элементы орнамента, как и для русского — китайские вывески на ресторанах, а надпись иероглифами на универмаге «Чурин» (Чу-лин) для китайца означает всего лишь «осенний лес». Китайские слависты, впрочем, глубоко изучают русскую культуру Китая. Больше в Китае, но и в Америке тоже.

Из русских кладбищ в Харбине сейчас цело только то, где похоронены советские солдаты и офицеры, павшие в августе 1945

года. Впрочем, недалеко от Харбина сохранилось русско-еврейское кладбище, куда были перенесены останки примерно двух тысяч харбинцев, — но это уже не те русские кладбища, о которых писал Несмелов. Да и на этом, загородном хунвейбины в 1966 году уничтожили множество портретов. «Герои русской земли» спят сейчас в земле, на которой разбит городской парк. Словом, и тут произошло то же самое, что бывает всегда: один народ сменяется другим, а если что остается — только литература.

* * *

Творческое наследие Несмелова на протяжении первых двух десятилетий, прошедших после его смерти, кажется, вообще никого не интересовало. Для советских литературоведов, изучавших культуру русского Дальнего Востока и, следовательно, неизбежно сталкивавшихся с именем Несмелова, он не мог представлять интереса: эмигрант, белогвардеец, фашист (разницы между «русско-китайским фашизмом» и европейским тогда никто не видел, как и до сих пор немногие желают видеть разницу между фашизмом итальянским и немецким). К тому же среди лиц, причастных к аресту Несмелова и его вывозу в СССР, оказался известный на Дальнем Востоке писатель Василий Ефименко (1915–1983), добродушно вспоминавший[53]: «Совсем конченый был человек, спившийся, у белогвардейцев печатался, у фашистов, кажется… Ну, дали бы ему, как всем из Харбина, десять лет лагеря, не больше… Никогда его не реабилитируют — его и не судил никто, он раньше умер, в ноябре, что ли, сорок пятого…» Работники «компетентных органов» точно знали, кого тащить, а кого не пущать.

В русском зарубежье интерес к Несмелову исчез вместе с исчезновением «восточной части» русской эмиграции. Для эмиграции «западной» слова Г. П. Струве, сказанные о Несмелове в 1956 году («близок к советским поэтам»), были приговором к высшей мере наказания для поэта, приговором к забвению. Лишь к концу 1960-х годов наметились первые, еще не очень существенные перемены. Сперва появилась упоминавшаяся выше попытка публикации его стихотворений в «Антологии поэзии Дальнего Востока» (1967) — из-за нее составителю, А. В. Ревоненко (1934–1995), пришлось с Дальнего Востока уехать (впрочем, в Сочи, о чем см. выше). С другой стороны, видные советские поэты — Леонид Мартынов, Сергей Марков — высоко ценили немногие известные им стихотворения Несмелова.

Именно С. Марков указал, что считавшаяся ранее утраченной поэма Несмелова «Декабристы» должна отыскаться на страницах газеты «Советская Сибирь» за 1925 год, в номерах, посвященных столетию Декабрьского восстания. Несмелов и Марков были связаны еще и общностью поэтических тем, оба изучали историю гражданской войны на Дальнем Востоке (Несмелов — на собственном опыте, Марков — как ученый), и у Несмелова, и у Маркова есть, например, стихи, в которых возникает образ «Даурского барона», потомка балтийских пиратов Романа Унгерна фон Штернберга, зверствами далеко затмевавшего и «черного атамана» Анненкова, и пресловутого атамана Семенова, и, пожалуй, даже коммунистов.

Несмелов стал появляться в качестве литературного героя. В романе Натальи Ильиной «Возвращение» (1957–1966) возник харбинский поэт Артемий Дмитриевич Нежданов, имевший, впрочем, по свидетельству как автора книги, так и поэта Н. Щеголева, со слов которого Ильина многое записала, мало общего с прототипом. В романе Левана Хаиндрава, младшего брата поэтессы Лидии Хаиндровой, более известного (несмотря на отсидку в начале 1950-х годов) своим сталинизмом[54], ненавистью к месхетинцам, осетинам, абхазам и всем некоренным (с грузинской, как считал писатель, точки зрения) народностям Грузии, — в его романе «Отчий дом» (1981) появился поэт Аркадий Иванович Нечаев, на идентичности которого с Несмеловым Хаиндрава настаивал. В уста Нечаева вкладывал автор такие мудрые реплики, касавшиеся судьбы царской России: «Режим прогнил сверху донизу <…>. Крах был неминуем. Все устои расшатались…» Встречались и другие упоминания, фрагментарные, незначительные. В советские годы издателям было определенно не до Несмелова.

Отдельный интерес представляет роман Ильи Фаликова (р. 1942, Владивосток) — «Полоса отчуждения», опубликованный журналом «Дружба народов» (2003, № 4). Автор этого романа, в глубокой рецензии на вдадивостокский двухтомник Несмелова (см. «Знамя», 1907, № 7), напоминает: «Там есть Харбин и поэт Мпольский: такой псевдоним (и персонаж) у Митропольского был на самом деле. Автор придумал героя, поскольку почти ничего не знал о жизни Митропольского в Харбине. Автор этого романа — ваш покорный слуга». Источник псевдонима самоочевиден: в московском томе Несмелове («Без Москвы, Без России», 1990) был помещен рассказ «Маршал Свистунов», где про господ Мпольских и их младшего сына, «кадета Сеню», упоминалось. Но изменилось отношение и к Несмелову, и культуре «восточной ветви» русской эмиграции, уже в XXI веке.

На Западе положение было почти таким же. Бывшие русские жители Китая, постепенно влившиеся в общий поток литературы западного зарубежья (В. Перелешин, Ю. Крузенштерн-Петерец, Е. Рачинская и др.), публиковали иной раз очерки о Несмелове, полные добрых слов, но заниматься собиранием распыленного несмеловского наследия не по силам было в те годы никому. Антологии поэзии русского зарубежья («На Западе» [1953], «Муза диаспоры» [1960] и т. д.) о Несмелове даже не упоминали, по крайней мере, до конца 1980-х годов. Лишь в 1973 году в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 110) Валерий Перелешин по копии автографа, присланного из СССР[55], опубликовал поэму-сказку Несмелова «Прощеный бес». Увы, публикация — хотя сказка принадлежит к числу шедевров Несмелова — погоды не сделала.

Но человеческая память живуча, да и «рукописи не горят», как сказал Михаил Булгаков и, как уже в наши дни уточнил Фазиль Искандер, «особенно хорошо они не горят, добавим мы, когда рукописи напечатаны». В сотнях библиотек и частных архивов хранились разрозненные комплекты газет и журналов со стихами и прозой Несмелова, у частных лиц сберегlись его автографы. Так и не удалось выяснить, были ли хоть когда-то изданы стихотворения, во множестве извлеченные нами из архивов тех, кто некогда переписывался с Несмеловым, — Лидии Хаиндровой, Петра Балакшина, Ивана Якушева, «Юрки» (Е. А. Васильевой), — причем, что важно отметить, это *лучшие* стихотворения Несмелова из числа не собранных в прижизненые сборники: по какой-то причине путь в печать в прежние годы им был заказан. Многое в публикациях прежних лет приходилось печатать записанным по памяти. К счастью, в нынешнем издании таких стихотворений нет, у всех есть хоть какой-то достоверный источник.

Со второй половины 1980-х годов интерес к творчеству Несмелова достиг высокой степени накала: его стихи изучаются, во всяком уважающем себя издании, будь то антология или энциклопедия, есть о нем хотя бы несколько строк. Его стихи переводятся на самые разные языки — от китайского до голландского. О нем написано и защищено несколько диссертаций. В 1990 г. В Москве вышел том «Избранного» Несмелова — «Без Москвы, без России» (сост. Е. Витковский и А. Ревоненко). Во Владивостоке в 2006 году вышло двухтомное «Собрание сочинений» Несмелова. Однако издание такого объема, как нынешнее, предпринимается впервые: очень многое нашлось значительно позже, к тому же прежние издания были жестко лимитированы «количеством страниц», проще говоря,

бюджетом.

Чего хотел от литературы сам Несмелов? Вот две цитаты.

> «Всякий ищет свое, — думал я. — Собака кость с остатками мяса, мать удачи для сына, сын — славы. Безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви. А чего ищу я? Ничего. Я люблю только точно писать жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: „А ведь он дышал и чувствовал совсем так же, как дышу и чувствую я. Мы — одно!“ И подумал бы обо мне как о друге, как о брате. Но, Боже мой, чего же, в конце концов, я хочу? Не больше, не меньше, как бессмертия!»

Этими словами заканчивается рассказ Несмелова «Ночь в чужом доме»: напечатан он был в августе 1945 года, за несколько дней до советской оккупации. Случайно ли такие слова оказываются в жизни человека последними? Несмелов, хоть и офицер, но в первую очередь поэт, хотел бессмертия — творческого, разумеется.

Вторая цитата представляется более важной. Последнюю строфу из этого стихотворения уже приводила в своей статье «Чураевский питомник» в 1968 году Ю. В. Крузенштерн-Петерец и сама потом не могла вспомнить, откуда запомнились ей эти строки. Но стихи нашлись. Всё в том же «Рубеже», полного комплекта которого по сей день не смогла собрать ни одна библиотека в мире.

ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ

Какой-то срок, убийственная дата,
И то, что называлось мастерством,
Что смелостью пленяло нас когда-то, —
Уже фальшивит шамкающим ртом.

О, трупы душ в тисненых переплетах,
Чей жар остыл, чей свет уже потух, —
Что уцелело от посильных взлетов,
От непосильных творческих потуг?

Лишь чудаков над вашим склепом встретишь;
Но даже им, искателям пути,
Сверкающую формулу бессмертья

В остывшем пепле вашем не найти!

И только страсть высоким воплем меди
Еще звучит, почти не отходя,
Да голубые молнии трагедий
У горизонта небо бороздят…

Лишь вопль из задохнувшейся гортани,
Лишь в ужасе воздетая рука…
Лишь речь нечеловеческих страданий,
Как маяки, как искра маяка, —
Векам, в века!

Трудно сказать, был ли Арсений Несмелов верующим человеком. Но обычной творческой ценой — ценой жизни — он себе бессмертие в русской литературе обеспечил.

Евгений Витковский
1990–2013

Апостериори

…А ты поверь,
Что будет мне и мертвому нетрудно
Любить тебя таким, как я теперь.

Валерий Перелешин, 1974

Перелешину шел шестьдесят первый год, когда он написал это прямо адресованное мне стихотворение (правда, он точно не знал моего года рождения, — теперь это уже не играет роли).

Мне идет шестьдесят третий. Значит, пришло время: подобные предсказания всегда сбываются — только не надо мешать им сбыться (хуже будет).

Я не мешаю. Я пишу о том, что знаю на собственном опыте, добавляя немногие факты, о которых узнал только в XXI веке — благодаря заботе моих младших коллег по этому собранию сочинений.

Не надо никаких «*хочется верить*». Я точно знаю и безусловно верю. Моя вера велит никогда ничего не просить, а всегда прощать всех, кого могу вспомнить — и даже тех, кто растаял в памяти. Не спрашивайте, что это за вера такая. Мой стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Кто захочет — тот поймет.

* * *

Легко установить, когда, и при каких обстоятельствах я узнал имя Валерия Перелешина, когда впервые прочел его стихи, еще проще — назвать точную дату нашего контакта (письменного, между Москвой и Рио де Жанейро — я так его и не увидел, хоть и связывал с ним всех моих друзей, которым был интересен «русский поэт в Бразилии). И, к сожалению, точно назвать могу время, когда этот контакт оборвался, когда и как я узнал о его смерти. Примерно двадцать лет — с 1971 года по 1991 год — нас можно было бы назвать друзьями, хотя сам Валерий (я и теперь в мыслях называю его только по имени) употребил бы другое слово. Как он называл меня до смерти его матери в 1980 году, и как, когда, похоронив ее, он „вышел из чулана“ и позиционировал

себя уже как открытый гей. Я определенно был объектом этой почти исступленной страсти, от нее русской литературе осталось куда больше, чем мне. Но ведь и я сам — часть русской литературы, точнее — ее читатель. Странная мне выпала участь. Но не более странная, чем выпала Перелешину. Мое дело было неприметно для меня самого и мне долгое время непонятно — дать влаге попасть на питающие пальму корни. Нечто подобное есть на одном из рисунков Леонардо да Винчи. Он пытался познать пути воды и законы ее движения. Я — не пытаюсь. Попробую рассказать то, что выпало мне узнать на собственном опыте. Апостериори, не более.

Об эмигрантской литературе я узнал почти случайно — и еще в школе: довелось забрести в „Клуб Любителей Научной Фантастики“ при Доме Детской Книги (Москва, ул. тогда — Горького, д. 43). Руководила этим „клубом“ Зинаида Павловна Смирнова, родная сестра прозаика и поэта Николая Павловича Смирнова (1898–1978), жили брат с сестрой в у метро „Аэропортовская“, я скоро оказался приглашен в этот дом — там собирались старшеклассники-фантасты, — увы, писателем стал, кажется, один я. Стены двухкомнатной квартирки были в стеллажах — и один их них выглядел загадочно. На дворе стояла осень 1963 года — даже хрущевская оттепель еще не кончилась.

Стеллаж был почти целиком заставлен поэтическими сборниками, изданными на русском языке — но за границей. В Париже, в Нью-Йорке… Книги стояли вперемешку с переплетенными самиздатскими копиями (в формате обычных книг). Что это такое — я понял довольно быстро. Понял, но глазам не верил — откуда и как такое могло попасть в Москву 1960-х годов. Книги были эмигрантскими, все до единой. Да еще на каждой второй стояла дарственная надпись хозяину дома. Стихов я тогда еще не писал (и тем более не переводил — откуда человеку знать, что именно судьба приготовила ему в качестве профессии на всю жизнь?), но любил их до дрожи. И очень хотел их читать: но не советские (для этого советская власть должна была рухнуть, а до этого было еще ох как далеко), не старинные (этим я уже был сыт, спасибо хорошему домашнему воспитанию), и не иностранными — тогда еще ни на каком языке стихи свободно я читать не умел. Разве что на русском. Помню, что первой вытащил с полки книгу избранных стихотворений парижского поэта Юрия Терапиано — „Избранные стихи“ (Вашингтон, 1963). Это была книжная новинка, и я понимал — советской цензуры она не проходила. Я влюбился в поэта, в эмиграцию, в „парижскую ноту“ и т. д. — еще ничего о них не зная, *ничего не понимая.* А откуда книга взялась?… Хозяйка

спокойно ответила мне: „Пришла по почте. Николаю Павловичу пропускают иногда — ну, не „Посев“, не „Грани“, а тут издатель — американский „Виктор Камкин“. Это не политика, а Николай Павлович со многими эмигрантами был знаком, когда они еще и не думали уезжать“.

Лишь очень много лет спустя я понял, что защищала во времена „оттепели“ Н. П. Смирнова его юношеская дружба с Фурмановым. Да еще он был из числа отсидевших (1934–1939), но уцелевших и реабилитированных, к тому же — ветераном войны, а писал — вполне вегетарианскую прозу о любимом Золотом Плесе, о Левитане… Писатель не лез ни в первый ряд, ни даже в третий. Ему и в пятом было хорошо (кстати, проза его забыта весьма несправедливо, надо бы вспомнить). Вот и проходили изредка к нему книги из-за рубежа: вероятно, его имя не входило в черный список тех, кто подлежал сплошному пресечению контактов.

Ненадолго, по одной, но книги самым доверенным из „Клуба“ выдавались на чтение. С той поры, почти уже полвека, и стал я самиздатчиком — благо машинке научился печатать раньше, чем писать от руки (а „Эрика“ берет четыре копии», кто ж не помнит). Клуб при ДДК умирал на глазах, все зубрили физику прочее естественное-самое-важное… Может, оно и самое важное, а я, не умея рисовать вовсе (и с астигматизмом к тому же) увлекся историей живописи. Голландской, фламандской, немецкой, далее по списку и по выбору. Поступил в 1967 году в МГУ, сдав экзамен «по профессии» — по предмету, который не преподавался в школе, а именно — по истории искусств — и сразу вернулся к литературе. В МГУ было катастрофически скучно (научный коммунизм, история КПСС, диалектический материализм, исторический материализм… и физкультура) — а профессионалы, кандидаты-доктора, специалисты по Рембрандту и ниже — не знали голландского языка. НИ ОДИН. Меня тошнило, и прежнее увлечение эмигрантской поэзией проснулось, будто гормоны взорвались. Для ясности — я ведь и сам к этому времени стал писать стихи. Не важно, какие, но причастность к литературе во мне пробудилась окончательно и на всю жизнь.

Я стал искать эмигрантскую поэзию в таких местах, где ее даже теоретически не могло быть (например, в открытом доступе Ленинки) — и, бывало, кое-что находил: каталогизаторы, приняв непонятную фамилию за иностранную («Моршен», к примеру) оставляли книгу в доступности. Надо знать, что искать, не более. А я знал, с тринадцати лет знал. Ну, и отношение с исторического факультета МГУ, бывало, открывало путь в спецхраны крупных библиотек. Беда была в другом: даже на самых тайных глубинах

этих спецхранов 90 % того, что мне было интересно, не оказывалось совсем. Ну, для начала надо разобраться с тем, что доступно. Я и разбирался. И однажды открыл, что русская литература в эмиграции прекрасно существовала не только в Европе, но и на Востоке — прежде всего в Китае.

Вот тут, строго говоря, и начинается «история Ариэля, апостериори».

История того, как я побывал Ариэлем — да еще и очень эротическим — почти не понимая, что именно такое амплуа для меня означает.

* * *

В 1968 году неведомыми самиздатскими путями попал мне в руки номер парижского журнала «Возрождение» (1968, № 204), где нашлась обширная статья Юстины Крузенштерн-Петерец «Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах)». И немедленно стало ясно, что миф о том, что Париж — столица русской литературной эмиграции — это миф, сочиненный непосредственно в Париже; даже Берлин, Белград, Прага…. Ну, Харбин… это еще ладно, это глухая провинция, а вот Варшава, Нью-Йорк, Таллинн, Хельсинки и т. д. — это что-то вроде Плутона: как «по счету раз» в 1930 году его открыли, так «по счету два» в 2006 году «лишили статуса планеты». Однако как Солнечная система была и осталась единым целым, так и русское зарубежье XX-начала XXI веков было, есть и никуда не делось.

Однако в 1968 году, когда я решил посвятить все свободное время «Восточной Ветви» русской эмиграции, юные мои коллеги, бредившие кто Георгием Ивановым, кто Борисом Поплавским, смотрели на меня как на законченного психа. А я на них никак не смотрел: статья Ю. Крузенштерн-Петерец давала ориентиры, по которым надо идти. Прежде все — к писательнице Наталье Ильиной, мать которой, Е. Воейкова, увезла в СССР «остатки архива поэта Леонида Ещина», умершего, а скорей — погибшего в 1930 году в Харбине. Единственная книга Л. Ещина «Стихи таежного похода» (Владивосток, 1921) в Москве отыскалась. Ильина тепло (вот уж чего я не ожидал) приняла меня и достала те самые «остатки архива». А стихи там были куда сильней, чем во владивостокской книге. Ильина разрешила скопировать все, что мне было нужно (а мне нужно было ВСЁ — я ведь и сам понимал, что предмет не изучен и впору экономить на минутах), дала координаты бывших жителей Харбина и Шанхая (больше артистов оркестра Олега Лундстрема, но и поэтов, избежавших

отсидки — осевшей в Краснодаре Лидии Хаиндровой и прижившегося в Свердловске Николая Щеголева; кстати, отчасти послужившего прообразом главного героя ее романа «Возвращение»). А в библиотеке, тогдашней «Ленинке», отыскались первые четыре сборника главного для меня по тем временам (спасибо наводке Ю. Крузенштерн) русского поэта Харбина, Арсения Несмелова — урожденного Митропольского, но из-за немалой известности старшего брата, журналиста Ивана Митропольского вынужденного взять псевдоним. В одной семье из числа музыкантов Олега Лундстрема уберегся шанхайский коллективный сборник «Остров» (1946), — у Хаиндровой же, возвратившейся из Китая в 1947 году в Казань, по каким-то религиозным причинам вещи не досматривали; русских книг, изданных в Китае оказалось немало, ее собственный архив совсем никто не тронул, а ведь там была ее переписка с Арсением Несмеловым с середины 1939 года (когда поэтесса покинула Харбин, оказавшись сперва в Дайрене, а годом позже — в Шанхае) до конца весны 1943 года и немало его стихотворений, вовсе не печатавшихся (в частности, рукопись поэмы «Прощеный бес», которую — забегая вперед — я скопировал и отослал Перелешину, а тот опубликовал ее в 1973 году в № 110 нью-йоркского «Нового журнала»). В 1955 году в Краснодар из Китая был призван весьма поздно (в 1955 году) промосковский архиепископ Виктор (Святин); туда же переехала из Казани и Хаиндрова. Я написал ей, приложив копию статьи Ю. Крузенштерн, ну, и как говорится, *все заверте*…©

В Краснодар я ей в 1968 году и написал. Моя переписка с Лидией Юлиановной — три огромных папки. Кому их оставить?… Думать не хочется, пусть мой младший сын решает. Она была участницей «Чураевки» (как и Н.А. Щеголев, с которым я очень быстро связался), а главное — после двадцатилетнего молчания, видимо, разбуженная статьей Крузенштерн, она вновь стала писать стихи; даже выпустила в Краснодаре маленький книжечку избранного, старого и нового — «Даты, даты». И стала понемногу искать адреса друзей юности, прежде всего — чураевцев, Лариссу Андерсен, Ольгу Скопиченко, Викторию Янковскую и т. д. — и многих других, менее значительных. Кто-то нашелся… А кого-то лучше бы и не находить. Но вернемся к нашей переписке с Лидией Хаиндровой. В письме ее от 22 апреля 1969 года есть фраза: «Хорошо, что Щеголев Вам написал, а еще лучше, что воздал должное Арсению Ивановичу *<Несмелову — Е.В.>*. Жаль, что это так поздно, а в свое время Несмелова очень огорчало их *<Щеголева и его друга, скончавшегося в 1944 году поэта Н. Петереца — Е. В. >* отрицательное отношение к нему. Как ему

хотелось принимать участие в творческой работе „Молодой Чураевки“ и отнюдь не как признанному мэтру, а просто дышать одним воздухом с молодыми поэтами Чураевки, но его пот же отстранили, как и в свое время отстранили так много сделавшего для лит. объединения „М<олодая> Ч<ураевка>“ Ачаира». К сожалению, процитировать ни строки из писем Николая Щеголева (1910–1915) не могу: их для каких-то неведомых музейных нужд после смерти поэта вытребовала у меня его вдова — и, разумеется, уничтожила почти все, кроме самых последних, от которых у меня случайно остались копии. Но то были еще 1960-е годы, и «мы не знали, мы не понимали / Что будет с нами, что нас ждет» © — тем более ничего не понимали мы, жившие в СССР.

Письма Хаиндровой у меня уцелели, видимо, по теории вероятности — о них почти никто не знал. 24 мая того же 1969 года Хаиндрова писала мне: «Удалось отыскать брата и мать Валерия Перелешина». Младший брат Перелешина, Виктор Салатко, в молодости тоже писавший стихи под псевдонимом «Виктор Ветлугин»… Да, это был след. О нем в воспоминаниях о поздних годах Перелешина пишет Ян Паул Хинрихс, не хочу ничего добавлять, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Не знаю, простил ли его Перелешин. Я простил всем и всё.

И вот — «отыскался след Тарасов». В письме от 12 июня 1969 года Хаиндрова пишет: «Спешу Вам сообщить, что я 10 июня получила письмо от Валерия Перелешина <…>. Вскрывая письмо, я думала, что оно от его брата или матери, и вдруг читаю: „Золотая Лидо…“ (так звали меня в литературных кругах, а в письмах так писал только Валерий и еще один товарищ писатель, который находится здесь), никаких сомнений не было, от кого это письмо. В большом письме напишу его адрес и все остальное».

Сопоставим даты. Мне не было и девятнадцати, Перелешину шел пятьдесят восьмой. Как я узнал позже, после долгого периода молчания (1957–1967) Перелешин только что вернулся и русской поэзии (и его нашла, и его растормошила Юстина Крузенштерн-Петерец!). Китай давно был в прошлом, Перелешин свободно говорил и писал стихи на этом языке (а также на английском), но… «Я до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт»: эти его слова надо бы и написать на его могиле на кладбище в Рио-де-Жанейро. Надо бы — да только не надо. Кириллица в Бразилии не в ходу. Об этом у Перелешина позже не единожды возникали поэтические строки.

Из «длинного письма» Хаиндровой от 13 июня 1969, пожалуй,

придется привести отрывок побольше.

«…Придя откуда-то домой 10 июня на столе увидала конверт с знакомым почерком И, глядя на конверт, подумала, как удивительно похож почерк Виктора на почерк Валерия, и распечатав убедилась к своей большой радости, что оно от самого Валерия. Он в Бразилии с матерью с 1953 года. А брат приехал к ним после. Сначала он тоже бросил писать, так как не удавалось попасть ни в какие русские толстые журналы, так „прожил на бразильских каникулах до весны 1967 года, тогда меня разыскала милая Мери <*Ю. Крузенштерн — прим. Л. Хаиндровой*> убедила вернуться в литературу“. Стали появляться его статьи и стихи в газетах Нью-Йорка. Был напечатан венок сонетов „Крестный путь“ в журнале „Возрождение“ в Париже. В июле 1967 года вышел пятый сборник его стихотворений „Южный дом“. Готовы к изданию шестой сборник „Качель“, седьмой „Заповедник“. Готовы к изданию поэма (*„Ли Сао“ Цюй Юаня — Е.В.*) и два сборника китайской антологии. Работает в полную силу и не только над стихами, но и над статьями, пишет многочисленные рецензии на книги поэтов и на наши книги. Написал воспоминания „Два полустанка“ о литературной жизни. Во второй части воспоминаний будет о шанхайском периоде. Пишет очень много о себе, но когда я дам Вам его адрес, то он сам Вам напишет все, что вам будет интересно».

Дальше переписка у нас с Лидией Юлиановной была обширная… и странная: я учился в МГУ, моих занятий эмиграцией боялась моя мать и непрерывно писала моим адресатам — что им делать, чего не делать, да к тому же немало писем в архиве, почему-то обращено не ко мне, а то к моей матери, то к моей жене. Из письма Перелешина ко мне следует: «Надеюсь, что Вы уже получили открытку с адресом Валерия Перелешина, а это означает, что Ваша бандероль удачно приземлилась у меня».

Открытка не сохранилась, но 15 июля 1970 года я написал первое письмо Перелешину; ответа на него не последовало, тогда 26 августа того же года я написал ему еще одно. На эти письма он не только не ответил — он никогда не упоминал о том, что вообще их получил. Лишь в 1997 году, работая с архивом Перелешина в Лейдене, их обнаружила там Ли Мэн. Могу лишь догадываться — отчего такое случилось. Может быть, Перелешин выяснял у Хаиндровой, что я такое и откуда взялся? … Спросить теперь не у кого. Однако на третье мое письмо от 17 февраля 1971 года он все-таки ответил. До самого недавнего времени я считал, что первые два письма вообще пропали в недрах советской почты. Загадка эта из числа тех, которые можно и не

разгадывать: в любом случае общение началось у нас с поэтом лишь в 1971 году.

Примерно тогда, в январе 1971 года, я ушел из МГУ «в академический отпуск с правом на восстановление» (вот уже и на пенсию вышел, а все храню это право: как писал мой учитель Аркадий Штейнберг «…А если подумать здраво — / На кой нам черт это право?») Короче, адрес я выпросил все-таки не зря и хоть на третье мое письмо Перелешин все-таки ответил. Повторяю: 17 февраля 1971 года я отправил Перелешину письмо, которое наконец-то заинтересовало адресата. 21 марта он отослал мне ответ, и ответ против ожидания *я нашел у себя в почтовом ящике*.

«Ваше письмо получил только вчера. Разорванный конверт был тщательно заклеен официальной этикеткой бразильской почты» <…> Такое было начало у нашей переписки, а конец ей наступил в начале осени 1990 года, когда к поэту пришла предсмертная болезнь и он уже никого не узнавал. Были еще открытки весной 1991 года, но это были не письма: только втерев в царапины, оставленные шариковой ручкой, порошок графита, можно было разобрать: «Эта ручка совсем не пишет. Надо взять другую». Такие же открытки приходили в Верхнюю Пышму на Урал, дочери Арсения Несмелова, Наталии Арсеньевне Митропольской… но в целом — это был конец. Однако двадцать лет с небольшими перерывами я пробыл жизни Перелешина «Ариэлем». Однако «Ариэль» ушел в лучший мир вместе с Перелешиным, а прототип все еще длит свое земное существование. Я не «Ариэль» (как Тень Отца Гамлета — не Шекспир). Но без меня этот персонаж едва ли появился бы на свет.

Дальше мне придется приводить цитаты из этих писем. Их копии хранятся в Москве в ИМЛИ, мои ответы — в Лейденском архиве Перелешина. Это, кажется, единственная часть его архива, закрытая для читателей (но не для моих соавторов, конечно). Многое в этих письмах уже непонятно через сорок лет, а многое не нужно даже историкам. Я попробую держаться того, что касалось в наших отношениях основного: нам было интересно друг с другом, для меня Перелешин был самой верной ниточкой к сбору распыленного по всеми миру наследия «главного поэта русского Китая» Арсения Несмелова, к тому же оба мы — случись же такая оказия — все-таки были поэтами-переводчиками. А помимо этого, надо помнить, Валерий Францевич весьма быстро… влюбился в меня. Не совсем, конечно, в меня, а в созданного его воображением Ариэля, но довольно долго эти образы были неразделимы. По крайней мере — пока из писем ко мне складывалась его лучшая прижизненная книга, девятая по

счету — «Ариэль» (1976).

В письме от 21 марта 1971 года достоин внимания такой абзац:

«Моя милая Золотая Лидо́ (Лидия Юлиановна) часто упоминает Ваше имя („Женя“), так что мы давно заочно знакомы. Очень меня тронули два обстоятельства: первое — то, что Вам знакомо обращение „многоуважаемый“ (ибо теперь чаще приходится встречать форму „уважаемый“, которая значит меньше, чем уважаемый), и второе, что Вы решительно ни о чем не просите. Ничего „прикладного“ в Вашем письме нет. Именно поэтому я отвечаю на него без промедления». <…>

«Мое „возвращение в литературу“ в 1967 году после длительных „вакаций“ огорчило многих „товарищей по несчастью“ — других поэтов. Особенно се́рдит их, что я стал одним из рецензентов журнала „Грани“ и газеты „Новое Русское Слово“, так что зажать мне рот трудно. Из недавнего номера католического бюллетеня, издаваемого в Сан Пауло, узнал, что там есть литературно-художественный кружок, но все названные имена оказались мне незнакомыми. Из чего заключаю, что я — единственный бразильский поэт, пишущий по-русски. Живу под стеклянным колпаком, о стихах могу поговорить только с мамой и двумя-тремя знакомыми дамами. Недостаток живого общения и атмосферы частично возмещается огромной перепиской». <…>

«В том же Франкфурте печатается моя шестая книга лирики „Качель“. Это будет книга исключительно религиозных поэм и стихов (96 страниц). Жаль, что <…> „Качели“ Вы не увидите, но проси́те Золотую Лидо́ переписать для Вас эту книгу (почти все книги у нее уже есть, дело только в их порядке».

Странное это было десятилетие — 1957–1967 годы, мне ли о нем судить теперь? Именно тогда, в 1959 году в Рио-де-Жанейро Марсель Камю заканчивал съемки величайшего из бразильских фильмов «Чёрный Орфей» по пьесе Винисиуса Мораэса, драматурга и поэта (1913–1980) — по иронии судьбы, год в год ровесника Перелешина. В этом фильме идет почти непрерывный — и насквозь трагичный — карнавал, только Копакабана видны не «анфас», а с вершин окружающих гор, не только Корковадо (Горбун-горы, — кстати, она часто видна на горизонте по другую сторону залива). Захочется ли вам в этот райский город? Сомневаюсь. Но для Перелешина это была «третья и последняя родина», где меньше чем через десять лет вернулось к нему поэтические дыхание. Даже и не знаю, видел ли Перелешин «оскарносный» «Черный Орфей». Но мне в понимании души Валерия Францевича этот фильм дал весьма много. Кстати, присмотритесь — как красивы бразильцы. Для Перелешина это

значило много, это послужило дополнительным импульсом его поэзии. Но — сильно позже.

А там-то в СССР кто бы тогда «Черный Орфей» показал?..

Да, время делало из нас самиздатчиков — вне зависимости от того, жили мы в Рио-де-Жанейро или в Краснодаре. Позже, когда в середине 70-х годов цензура писем на какое-то время несколько ослабела, Перелешин проделал трюк, равного которого не упомню в своей жизни, ни в чьей-либо еще. Дело в том, что я по всей вероятности — последней из вышедших на русском языке авторской книгой стихотворений был *четвертый* поэтический сборник Перелешина — «Жертва». Для обложки книги уже не было никакой бумаги, кроме папирусно-желтой, а для надписи на ней — никакой краски, кроме зеленой («Вышла яичница с луком» — шутил автор, и не он один). Сам Перелешин давно уже находился в Пекине, заботы об издании легли на его мать, Е. А. Сентянину. И… случилось так, что изрядная часть тиража книги перебралась сперва к автору в Шанхай, затем в Гонконг, а затем дождалась 1970-х годов в Рио-де-Жанейро. Перелешин разрезал книгу по корешку, и стал, складывая пополам, пересылать мне по страничке эту книгу: чудо случилось: по одной страничке книга собралась у меня *вся*. Я отдал ее великому библиографу (а в те времена еще и великому мастеру переплетного дела) Льву Михайловичу Турчинскому. Он согнул обложку на миллиметр или два, и авиационным клеем ввел в образовавшийся блок все 54 страницы книги. Она и сейчас на моем столе: **Валерий Перелешин. Жертва. Четвертая книга стихотворений. Харбин 1944**. И уже рукой автора на титульном листе книги приписано: «***Дорогому Жене на память о том, чего не было, но что — было. Валерий Перелешин, Рио де Жанейро, 16 сентября 1974 года***». И страницы и обложка книги хранят след легкого сгиба пополам — чтобы в конверт вложить можно было. Чем не памятник эпохе?..

Мы много говорили с Перелешиным в письмах о переводах: с его легкой руки я даже португальский язык выучил, но… никогда не переводил бразильских поэтов: только «главных по эту сторону Атлантики» — Камоэнса, Бокажа, Пессоа, ну, и тех, что разрядом поменьше, однако никогда не выходил за пределы Португалии. Перелешин всегда помог бы проконсультировал все непонятные реалии… но мне не хотелось лезть в то, что он заведомо знает лучше меня. А континентальная Португалия была для нас чем-то вроде «оффшорной зоны»: теперь, когда очередной раз издаются стихи великого Пессоа, которого я перевел больше двух тысяч строк, я стараюсь в состав хотя бы десяток переводов Перелешина подложить. Наши школы — «советская» и «эмигрантская» давно

перестали существовать как раздельные, так отчего бы и не печататься вместе? Издатели не возражают (особенно потому, что у Перелешина нет наследников и платить никому не надо). Однако в нашем Собрании сочинений понадобился бы еще немалый том для переложений Перелешина с китайского и португальского, с английского и французского — так что без крайней необходимости постараюсь сейчас этой темы не касаться. Надеюсь, что переводы Перелешины еще выйдут отдельно книгой. Эдаким четвертым томом нынешнего собрания сочинений, протом немалым.

Иной раз в его письмах можно найти такие вот краткие и не требующие комментария отзывы о современниках:

«Несмелова я ставлю очень высоко. Дал я разъяснения Глебу Петровича <*Струве — Е.В.*>, что на Маяковского он слегка похож (мажорностью большинства вещей), но с Северяниным не имеет ничего общего»

«Елагин не ломается и вообще очень сильный и своеобразный поэт. <…> Моя переписка с ним расстроилась после того, как я доказал ему, что его строки о „переплывающих Кассет / на переполненных по горло *суднах*“ — имеют смысл, которого он не предусмотрел: коли „на кораблях“, так „на судах“, а на „суднах“ — ну, на больничных посудинах…». <*Елагин в присланной мне ксерокопии книги «По дороге оттуда» эти строки в 1976 году тем не менее ИСПРАВИЛ! — Е.В.*>

«Мишка Волин когда-то еще в Шанхае устроил вечер для того, чтобы выпустить книгу своих стихов. Мы все откликнулись, составили ему программу. Сбор был недурной. А потом я встретил его на улице и спросил о книге. — Знаете, Валерий, я подумал-подумал и решил вместо книги заказать себе костюмчик» <О реакции Волина на мемуары Перелешина «*Два полустанка» подробно пишет нидерландский славист в публикуемых в нашем издании воспоминаниях — Е.В.*>

«Лидия Алексеева грамотная, но не очень сильная поэтесса».

«На Терапиано я пишу эпиграммы приблизительно дважды в месяц. Очень злые».

Попутно придется развеять еще один невольно возникший миф. Создал его, ничего дурного не замышляя, мой большой друг Василий Павлович Бетаки (1930–2013), которого и процитирую по сетевой публикации (В. Бетаки, «Снова Казанова», часть третья — действие происходит в 1972 году, в доме моих больших друзей, поэтессы Ирины Озеровой и ее мужа Олега Пучкова — в «ближнем Подмосковье», городе Бабушкине, — теперь это просто Москва): «*По разным делам, связанным с отъездом, я поехал в Москву. Зашел попрощаться с Ирой Озеровой и её мужем Олегом*

Пучковым. Он хоть и состоял на партийной работе, но был совершенно своим, надёжным человеком. У Иры с Олегом я, в то мое „прощальное“ посещение, познакомился с Женей Витковским. Он работал тогда на радио, вещал на эмигрантов. Передачи эти всегда начинались словами: „Здравствуйте, дорогие соотечественники!“. Женя знал десятки адресов эмигрантских литераторов во всех странах мира, по должности открыто переписывался с некоторыми из них. Так что он оказал мне неоценимую услугу, снабдив меня адресами в самых разных странах».

Василий Павлович, для меня так просто Васька, был мною видан «до отъезда» лишь один раз — его он и описывает. Когда, спустя десятилетия, он вошел в мой дом на Садовой Каретной в Москве — наш разговор буквально начался там, где оборвался в семьдесят втором. И длился до самой его смерти, спасибо интернету, телефону, скайпу.

Чудесный поэт, переводчик и человек — вот и тебя нет. Ничего. Увидимся. Только одна ошибка в его воспоминаниях есть: никогда я не работал на радио и тем более не вещал на эмигрантов, мое откровенно подпольное общение с ними я не рекламировал — ну, Вася и предположил «примерное такую ситуацию», при которой я мог общаться с эмигрантами и… никуда не уезжать. Меня всего-то выручало наличие реальной родни в Германии, с которой в эти годы (да и до сих пор) у меня не рвались связи. Однако это не совсем «эмигранты»: родившихся в Москве в начале XX века немцев даже в ОВИРе так, думаю, никто не зовет. А «работал» я — точнее, числился, — литературным секретарем члена СП СССР, незабвенного моего учителя Аркадия Штейнберга. Кем я на самом деле «работал»? Лучше уж помолчу.

Однако в память вовсе не подвела Василия Павловича. Несколько адресов, а среди них — адрес Валерия Францевича Салатко-Петрище в Рио-де-Жанейро, заметим — адрес ***на португальском языке, не самом простом для тех, кто его не знает***, — я Бетаки продиктовал. И он запоминал адреса, не записывая! Уже через несколько месяцев Перелешин расспрашивал меня в письме — «кто такой Бетаки». Я рассказал, что знал, отношения между ними, насколько мне известно, сложились неплохие, где-то должна храниться их переписка. Только, потомки, учтите: никогда не произносил я в эфир слов: *«Здравствуйте, дорогие соотечественники!»* Перепутал Василий Павлович какие-то мои слова со знаменитой радио-фразой Александра Галича: «Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые сограждане!» Книга эта — памятник не только Галичу, но и ее

составителю — Василию Бетаки. А мне почетно — и все же неловко.

Переписываться нам с Бразилией, конечно, было трудно: каждое второе письмо Перелешина пропадало в желудке «советской почты» (теперь не уверен даже в этом — едва ли бразильская почта работала на высшем уровне). Но терпение у нас было у обоих: меня интересовал прежде всего «бразильский» период жизни Перелешина и то, что написал он в этой стране по-русски между 1952 и 1957 годом, а также 1967 — по тогдашнее «Настоящее время». Это было не очень много, но вернувшийся в литературу поэт стихами буквально фонтанировал. Помимо этого, важнейшим делом считали мы сбор полного, насколько это возможно, наследия Арсения Несмелова (1889–1945): поначалу мы не знали точно ни года рождения его, ни года смерти, да и книги Несмелова у нас составляли полный комплект только один на двоих. Не книги, а больше копии… но нас тогда это не тревожило. Был бы текст. Я переписывал то, что было у меня, он — то, что было у него; попутно мы искали по всему миру — что у кого осталось «помимо сборников». История этих поиском потянула бы на от отдельную монографию, но один эпизод в ней настолько колоритен, что рассказать о нем нужно отдельно.

Ради экономии места Перелешин записывал стихи в строку, давая лишь указания на отбивки. А чуть ли не лучшего сборника Несмелова — «Без России», Харбин, 1931 — в СССР я найти не мог. У Перелешина же сборник был, притом подаренный самим автором. Ну, и заработала обычная самиздатская машина: исписанный с двух сторон лист вкладывался в конверт, и «via maritima» — то бишь морем, не авиапочтой, чтобы деньги сэкономить — отправлялся в Москву. Страница могла оборваться на полуслове — я знал, что в следующем письме будет продолжение.

И однажды продолжение взяло да и не пришло. Разрезано на половине оказалось знаменитое ныне стихотворение Несмелова «Агония», о последних днях царской семьи в Тобольске, с изумительным по силе вставным монологом императрицы. Воспроизвожу конец полученного мной письма (собственно, не письма, а пакета со стихами Несмелова — дело было уже в 1972 году).

…Думала: склонятся снова лбы, / Звон колокольный прогонит полночь, / Только пока разрешили бы / Мужу в Ливадии посадовничать! // Так бы и было, к тому и шло. / Трепет изменников быстро пронял бы, /

И тут текст обрывался. Нам не привыкать: Перелешин послал письмо второй раз — оно явно пропало. Пропало и третье. И

четвертое.

Я понял, что письма с продолжением определенно попали под выборочную проверку и отчего-то намеренно конфискуются. Ну, «als sie so, so ich so» (прошу прощения, в романе Набокова Пнин на вот таком невозможном немецком изъясняется профессор Пнин, предполагая, что сказал «Раз вы так, то я так»). Так и поступим. Но придется сделать небольшое отступление.

Еще в письме (от 23 мая 1971 года) у Перелешина была фраза-оговорка: «Сегодня надо бы съездить в марочный клуб (благо писем сегодня не было…)». В письме от 27 мая Перелешин дополнил: «Марки я собираю с одиннадцатилетнего возраста. Собираю не весь мир, а избранные континенты и страны, среди которых Россия и СССР. Обрадовался, увидев „картинки“ на конверте. Буду радоваться каждый раз».

Радость была вынужденная — на письмо в Бразилию приходилось клеить довольно много марок, а уж клеить — так красивое что-нибудь. Я ходил на Центральный Почтамт, подбирал марки, сам клеил, сам отдавал письмо в окошко. То, что филателисту всегда приятно получить вот такой конверт, я знал не понаслышке: мой отец, Владимир Генрихович Витковский (1903–1991) собирал марки с юности, со времен работы у Маяковского в «Окнах РОСТА». Однако война 1914–1920 семью сильно разделила. Большинство членов клана Витковских, Мычко-Мегриных и Райнбахов откочевала через Ригу в Германию, а мой отец вместе со своей матерью остался в РСФСР: женился, завел сына Александра Витковского (1924–1943, погиб под Старой Руссой), занялся «хранением яблок и винограда» (даже книгу на эту тему издал)… и на всю жизнь придумал себе занятие для досуга — стал собирать марки. Что именно он собирал — я понять так и не смог, но альбомов с марками был полон дом. Отец воевал на фронте с советской стороны, таскал раненых из-под огня с передовой (медалей «За отвагу» у него было то ли три, то ли четыре), аккуратно скрыв свое немецкое происхождение. Он знал немецкий, а это ценилось. Никому и в голову не приходило, что «За Родину! За Сталина!» воюет натуральный московский немец. Отца не спрашивали — а он лишнего умел не говорить. Но об этом, думаю, в другой раз.

И жену Марию (умерла от дистрофии году в 1942 году), и сына отец потерял. В уже занятом советскими войсками Крыму ему в приказном порядке «сунули дембель»: он оказался чуть ли не единственным, кто помнил расположение царских винных погребов в Ореанде и вокруг. Такой «санитар» ведомству Берии со товарищи даром был не нужен, ему была нужна «царская выпивка». А отец мог ее обеспечить. Отец получил место в

«Особторге» (стыдливое послевоенное название Торгсина), прописку в Москве… но, как библейский Иов, остался без жены, без матери, без сына. Ближе «двоюродных» у него родственников не было никого. Отец поступил в точности как Иов: вновь женился на Тамаре Михайловне Сергеевой (1923–1993), как и он, москвичке, но — на двадцать лет моложе него. Сын от этого брака пишет сейчас строки, которые Вы читаете. Правда, в шестилетнем возрасте мать прихватила меня и укатила в Томск к другому человеку, к воспитавшему меня «отчиму» Андрею Владимировичу Гербурт-Гейбовичу (1909–1993), так что отец меня в общем-то не воспитывал. Но когда отец в 1968 году отбыл свои четыре в лагере под Ярославлем (за «экономическое преступление, выразившееся во взятках общей суммой на 230 рублей…» в пять приемов — чисто хрущевская выдумка), я уже учился в МГУ и жил более-менее один, так уж мне повезло. Со всеми — с отчимом, с матерью и с родным отцом я сохранял лучшие отношения до самой их смерти. Это длинное отступление «о себе» приходится сделать, потому как к Перелешину оно имеет прямое отношение.

В начале 1970-х годов в квартиру на Большой Дмитровке, тогда — улицу Пушкина, где еще жили кое-какие наши троюродные родичи, внезапно пришло письмо из Германии, из города Ханау-на-Майне (кто ж не вспомнит строк моего любимого Н. М. Языкова из «Послания Гоголю»: «А я по-прежнему в Ганау / Сижу, мне скука и тоска…») пришло письмо: «Сообщите о судьбе семьи Витковских, Марии и Владимира, по адресу…» Письмо было не совсем на «деревню дедушке»: в этой квартире Витковские в начале 1920-х как раз и жили. А вот подпись под письмом напугала остававшуюся на Дмитровке родню до полусмерти: *Рудольф Райнбах*. О том, что всё семейства Райнбахов отбыло в Ригу в 1918 году, мы знали. Родня перезвонила отцу (все-таки вопрос впрямую их не касался) и отдала письмо (наверняка после этого все перекрестились и руки вымыли). А отец только что вышел из лагеря. У отца только и было всей семьи, что его третья жена, урожденная Антонина Бухрот, да я — уже вполне независимый, мне было года 22 или около того.

Отец перезвонил мне, пересказал все происшедшее и сказал: «Будем отвечать?» Мне и так было ясно, что, простите, «если нельзя спрятать, то надо высунуть». Куда денешь двоюродного брата отца и друга его детства, крупного ученого-химика Рудольфа Райнбаха (1907–1985). «Органы» все равно разберутся и найдут нас, а мы не единственные в СССР, у кого есть родня за границей, тем более — обе семьи от одного корня, только одна ветвь обрусела, друга онемечилась. Пропущу подробности:

короче, дядя Руди стал в Москве постоянным гостем, когда ежегодно, а когда и два раза в год он приезжал в Москву почти до самой смерти. И постоянно переписывался с моим отцом. Что самое для нас сейчас важное — «Рудольф Альбертович» оказался пламенным филателистом. На этой почве я подсунул ему при первой же встрече адрес Перелешина: лишний контакт никогда не помешает (о другом таком случае рассказывает в своих воспоминаниях Ян Паул Хинрихс, а сколько их было всего — мне и не вспомнить). Кстати, менялись марками Перелешин и мой дядя до конца жизни дяди, а Перелешин слал ему иной раз и пакет всякой экзотики — в подарок моему отцу.

Этот контакт был прочным, надежным, долговременным: родня как-никак. А уж филателисты найдут общий язык сами: к слову: «Рудольфом Альбертовичем» называл моего «дядю Руди» только Перелешин, у нас отчества и вовсе не очень в ходу были (имена старших и следующих сыновей были определены традицией): отец мой тоже был вообще-то не Владимир, а Вольдемар (+ еще четыре имени, и порядок их мне точно не вспомнить), да и сам я «Евгений» лишь потому, что называть сына Генрихом в Москве в 1950 году было самоубийством: вот и передал отец матери записку в роддом: выбирай: «ЕвГЕНий» или «ГЕНнадий». Мать выбрала. Но и брата поэта Валерия Францевича Перелешина (урожденного Салатко-Петрище) тоже по документам звали «Валерий Салатко». Так ли важно имя? («был бы человек хороший», как сказал в известном анекдоте один кирпич другому).

«Als sie so, so ich so»: этим я и воспользовался. Меня любил дядя Руди, а Перелешин, кажется, к этому времени уже даже более чем просто «любил». И я попросил отослать недостающие страницы сборника «Без России» не мне, а в Германию, дяде Руди. Тот переписал в три письма нужные стихотворения от руки (он вообще писал от руки) внутрь своих писем моему отцу — и отправил их в три приема простой почтой. Чем мельче сеть, тем легче она рвется. Вот и проскользнули китайско-бразильские рыбки от Перелешина дяде Руди, от него — моему отцу, а мне оставалось забрать письма.

Вот только теперь и стало ясно, отчего четыре письма Перелешина пропали. Еще бы им не пропасть! Предлагаю вниманию читателей то самое, с чего начинался «оборванный текст» очередной страницы Несмелова:

…/ Если бы нечисть не принесло, /Запломбированную в вагоне. // Вот на балконе **он** (из газет / Ведомы речи), калмыцки щурясь… / И потерялся к возврату след /В заклокотавшей окрепшей буре. // Враг! Не Родзянко, не Милюков // И не иная

столицы челядь. / Горло сжимает — захват каков! — / Истинно волчья стальная челюсть. <…>

Короче, сборник «Без России» оказался у меня собран целиком, Счастлив был я, счастлив Перелешин, а мой отец и дядя Руди были довольны, что на старости лет и они, филателисты, на что-то годятся. Не знаю, цела ли переписка Рудольфа Райнбаха и Перелешина (разве что в Лейдене). Но если цела — лежит она у дочери Рудольфа, Глории, скульптора-керамиста, которая поныне живет в Дармштадте. (*Ян Паул, ау!)*

А мы с Перелешиным в итоге собрали полный комплект сборников Несмелова. Позже, на протяжении многих десятилетий, шло собирание его «невошедшего» по всему миру: огромный вклад сделала наш соавтор из Чикаго, Ли Мэн, а в конце концов Владислав Резвый отыскал более сотни стихотворений, опубликованных в 1912–1917 годах в Москве и Петербурге — под собственной фамилией, под множеством псевдонимов, но до «Несмелова» было еще далеко — тот «родился» лишь во Владивостоке весной 1920 года. Этих стихотворений, да и многих более поздних (более 150!) нет даже в капитальном двухтомнике Несмелова, выпущенном в 2006 году во Владивостоке. Надо бы Несмелова издать заново — но сейчас не его очередь. Сейчас пора издать самого Перелешина. Если в Китае — по мнению самого Перелешина — первым поэтом был Несмелов, а вторым — Перелешин, то в Бразилии первым поэтом (возможно, даже более крупным, чем Несмелов) стал Перелешин. И вовсе не только в Бразилии. Он стал — и по сей день остается — самым значительным русским поэтом Южного Полушария планеты Земля. Есть слух, что сделала его таковым книга сонетов «Ариэль» (1976)… но не мне тут судить. Эти сонеты создавались по мере нашей переписки в 1971–1975 годах, и я вовсе не думал, что из них сложится «книга». Словом, моем дело рассказывать, что знаю, а судит и оценивает пусть кто-нибудь другой.

Вернемся к первому году нашего письменно общения с Перелешиным, благо письма целы и разобраны — к 1971–1972.

Первое его стихотворение («Перед зеркалом»), посвященное мне, вписано в письмо от 27 мая 1971 года. В сборники оно не вошло, так ищите во втором томе, дата под ним — 26.V.1971. Автору, заметим, не было и пятидесяти восьми. А мне, напоминаю сейчас куда больше. «Бывают странными пророками / поэты иногда…» ©. Трудно сказать с уверенностью, но не этим ли числом нужно считать день рождения *Ариэля*? «Женей» он впервые назвал меня в письме 1 июля того же года. В 1973 года (22 февраля обращение уже иное: «Мой любимый Женя», через полгода (30 октября) мы находим обращение меняется вновь:

«Мой родной…» И все время сбивался с «Вы» на «ты». Я, однако, памятую о разнице в нашем возрасте (37 лет) «ты» принял бы спокойно. Но — одностороннее. Я на «ты» не обращаюсь почти ни к кому, памятуя шуточку: «мы с ним на „ты“ и на „сволочь“»…

Осенью 1974 года в нашей переписке вынужденно наступил перерыв: письма не шли ни в ту сторону, ни в другую: Перелешин впал в обиду, а в какую и за что — я узнал через четыре года — и прямо от Перелешина. Однако через два года первое, что сделал мой дорогой дядя Руди прямо в коридоре ныне разобранной гостиницы «Интурист» (возле «Националя») — это вынул из внутреннего кармана пиджака и вручил мюнхенский том — «Ариэль». Как я понял в дальнейшем, Валерий (уж буду и я называть его просто по имени) сильно осерчал на меня, что я оставил первую семью и ушел к поэтессе Надежде Мальцевой, которой ныне гордится русская литература (и о которой все, что надо, можно прочесть в русской Википедии). Однако Надежда, увидев мою растерянность по поводу принесенного домой «Ариэля», копнула наш несметный архив, нашла нужный адрес — и написала Перелешину сама. Поэтому вернулась к жизни наша переписка с Рио-де-Жанейро лишь в 1977 году, и первое письмо Валерия от 17 августа обращено только к Надежде.

4-го октября того же года очередное письмо из Рио-де-Жанейро (девятое за два неполных месяца!) начиналось обращением «Дорогие Надя и Женя». А следующее, от 9 октября — привычным «Дорогой Женя». Надежда наши отношения восстановила и… пошла писать стихи. Те самые, которые изданы лишь в XXI веке и составили ее сборник «Дым отечества». Хотя мы с Надеждой расстались в 2002 году, но остаемся лучшими друзьями и она ждет собрания сочинений не меньше, чем все, кто так или иначе оказался задействован в общении между Москвой и Рио-де-Жанейро: тем более, что именно в конце 1970-х годов у нас появилась на короткое время возможность общаться с Валерием без посредства «советской почты». В 1978 году обращения стали прежними, а 6-м апреля датировано письмо, начало которого стоит процитировать:

> «Мой дорогой друг,
> Совершенно неожиданно получил сегодня из Кембриджа в Англии письмо Ариэля…»

Тут нет ничего странного: по поручению Ю. П. Иваска в моем доме появился мой дорогой и ныне, увы, покойный друг, Александр Николаевич Богословский, специалист по творчеству Бориса Поплавского, заплативший за эту свою «специальность» тремя годами ГУЛАГа (меня не притянули к его процессу по

случайности: моего телефона не было в записной книжке Богословского; зачем записывать то, что знаешь наизусть как молитву?..) Через Сашу я мог передавать письма на Запад, получать их с Запада, да и книги можно было в небольшом количестве передать. Два года мы жили в этом смысле как у Христа за пазухой, диппочта некоторых (точнее, трех) посольств готова была нам помочь максимально насолить советской власти. Ну, а мы, само собой, готовы были этому желанию соответствовать. Я был защищен лучше Саши: и член Союза Писателей, и… эпилептик, да еще и — не падайте в обморок — специалист по ленинской теме в мировой поэзии. Ничего особенного: в 70-е годы я собирал (но сам не переводил) псалмы, которые писали Ленину во всем мире. Но у монеты, кроме аверса, есть и реверс. Кончилась советская власть, а я вовсе не перестал быть специалистом в этой области. В России, США и Израиле очень охотно печатают мои переводы стихотворений о Ленине, созданные в 1938–1954 году лучшим канадским поэтом, «Киплингом холодной страны», Робертом Сервисом (1874–1958). Вот за эти переводы мне при советской власти дали бы не три года, а куда больше. Но я — филолог, я всего лишь продолжаю изучать начатую тему. Псалмы больше никому не интересны, зато стихи Сервиса о ругани теней Ленина и Сталина в ставшем коммуналкой мавзолее многим очень по сердцу (Наверное, есть и те, которым «не по душе», только вот есть ли у них душа, или давно продана?). Словом, связываться с эпилептиком-лениноведом аж до 1986 года не рисковали. А когда на допросы все-таки стали вызывать — оказалось поздно. Потому как тем, кто вел допросы, очень скоро стало пора спасать собственную… ну, шкуру, шкуру, ничего другого я в виду не имел.

Только Саша Богословский тихо угас, ушел из жизни, успев подготовить к печати трехтомник любимого Поплавского. Он и сейчас у меня на стеллаже возле стола — как память о Валерии, о Саше. И — о связавшем нас «через свои каналы» Юрии Павловиче Иваске, чья поэзия все не дождется никак нормального издания в России.

Однако письмо от 6-го апреля 1978 года наконец-то было расковано, наконец-то лишено тошнотных эвфемизмов. Может быть, и нет это важно теперь, на два абзаца процитирую.

«О статье „Скрытый шедевр“ С. А. Карлинского я Вам писал (и статью посылал). Статья на шести неполных страницах журнала „Улица Христофора“ (gay). Есть в ней ссылки на Георгия Шувалова (вероятно, Геннадия Шмакова), но не в этом дело, а в том, что о моем Ариэле С. А. К. написал опрометчиво, сделав из него левшу, в чем я далеко не уверен. Спорить уже поздно: статья

напечатана. Другая копия послана дяде Р. А. А получена ли?» [*Кстати: статью мне дядя Руди так и не переслал, считал, что она может «повредить племяннику». Ошибался дядя Рудольф, чудесный человек… но быстро старел. Рад бы о нем десяток страниц написать, да где место взять?..*]

«Левша» — постоянный эвфемизм Перелешина (и не только его) для того самого, что давно уже называется по-русски «гей». Но отвечу: я-то ведь не Ариэль. Мне нужно представить, что о своем Ариэле думал Перелешин. Тот Ариэль, конечно, был гей, да еще и вечно в кого-нибудь (своего пола) влюбленный. Совесть велит и мне прикинуться геем, подыграть партнеру… но я же не «Доктор Кто» из знаменитого английского телесериала, переродиться не могу. Ариэль исчез с тех пор, как в начале 1990-х Валерий перестал узнавать окружающих. Кем ни прикидывайся, а в храме, в исповедальне все равно скажешь правду. Правда же проста: если бы я родился геем, я был бы в точности тот самый Ариэль, какого придумал Перелешин. Только я-то родился *собой*. В любом случае — как пела некогда моя почти ровесница Глория Гейнор, «I am what I am». (Правда, кто бы мне самому на седьмом десятке объяснил — каков же я есть? Как-то по сей день все не было времени задуматься).

От себя лишь печально добавлю, что с замечательным переводчиком Геннадием Шмаковым знаком не был: мы жили в разных городах. Сколько же «невстреч» оставляет нам уходящая жизнь. Но… напоминаю, мой стакан всегда наполовину полон, никак не иначе. Так останется до конца дней моих, а дальше не мне решать.

Но вернусь к тому же письму:

«Мой брат однажды опять бранил книгу „Ариэль“ — „Порнография!“ Вспоминал переполох (слова Т<амары> М<ихайловны> [т. е. моей матери] и Аллы <Шараповой, моей первой жены>): „Скажите ему (мне, то-есть), чтобы *таких* стихов не писал“. А я слушал — и жалел его (вместе с его викторианством). Сколько воды утекло с тех пор под мельничные колеса. И смотрел я на ворох книг, полученных от моего Ариэля (и с какими надписями!»

По мне — Перелешин все понял правильно. И причину, по которой я сбежал из первой семьи (не хочу о ней ничего плохого писать, ибо если о мертвых — только правду, то о живых — или хорошо, или ничего: такой вариант древней формулы я выбрал для себя). И понял, что надписи мои очень большому поэту Валерию Перелешину были совершенно искренними. Дело никак не в сексуальной ориентации, дело в поэзии, а она инструкциям о том, как писать, как не писать, не подчиняется. Куда более

неловко читать теперь в письмах Перелешина упоминание о том, как в середине 1930-х он пытался «лечить себя женщиной», Е. А. Генкель, которая была старше него на тринадцать лет, — что там у них вышло, знать не знаю, но в итоге поэт пошел в монахи. Впрочем, как пошел, так и ушел: «голубой монах» не столько противоестествен, сколько не имеет права на уважение. Этого поэт не хотел.

Перелешин все больше «открывался», как говорят геи, «готовился выйти из чулана». Он это и сделал после смерти матери в 1980 году, но до тех пор у нас с ним оставалось два года свободной от цензуры и «зоркого ока» переписки. Перелешин поставил задачу: переслать мне ВСЕ свои стихи и переводы, в том числе и такие, от которых отрекался начисто и не желал их печатать никогда (даже написанные в детстве, даже совершенно непристойные, написанные в период «молчания» по-английски, словом — все). У меня и впрямь оказалось такое, чего здесь нам печатать не захотелось, стихотворения, написанные Валерием в детстве. Пусть лежат в архиве.

Зато Валерий непременно передавал приветы Надежде Мальцевой, моему учителю Аркадию Штейнбергу, моей приятельнице, поэтессе Ирине Озеровой, вернувшейся в Питер (Боже, какой ценой!..), Марии Веге, конечно, Саше Богословскому, а также пражско-парижскому поэту Алексею Эйснеру, с которым в эти годы мне не без труда удалось познакомиться в Москве, чьим «Человек начинается с горя» Перелешин бредил еще в Харбине. Написал Эйснер, к сожалению, очень мало, едва хватило на небольшую книжку, которую мы в «Водолее» в 2005 году выпустили. Потом еще стихи нашлись, надо бы переиздать книгу в расширенном виде — да только вот слишком много всего *надо* — а нас с годами все меньше. И все меньше живых свидетелей ушедшей эпохи. Сыну я всегда повторяю: если надо идти по литературным делам к десятку стариков, выбирай сперва того кто, старше. А то опоздаешь. Надо сказать, совет помогает.

Всего, увы, не перескажешь. Моя переписка с Перелешиным даже с пробелами, лакунами и изъятыми повторами составила бы целую книгу. А мне ведь надо рассказать о многом. Чего другие не знают — или не рискуют писать: о Перелешине последних 10–12 лет, когда — благодаря свалившейся с неба американской «благотворительной пенсии» он вдруг стал финансово независим от брата. И о шоке, который испытал брат, когда Перелешина стали печатать в СССР, в 1988-1990-х годах. Но буду писать, пока силы есть, и пока редактор не скажет «брек». А ведь скажет!

Наконец, 21 мая 1978 года, посоветовавшись с Хаиндровой, Перелешин заложил мне самого себя на 100 % (и очень облегчил

наши дальнейшие отношения). И тут цитата необходима. Наперед скажу: под псевдонимом «Александр Каюрин» Перелешина очень хотел печатать пресловутый «Комитет по связям с со связям с зарубежными соотечественниками» (Б. Харитоньевский, 10). А я, юный поэт-переводчик, сдуру попался на этот крючок — и по их «просьбе» должен был уговорить Перелешина дать для их изданий — ну, хотя бы переводы из Камоэнса и Ли Бо. А там уж они сами его обработают не хуже, чем бедную Марию Вегу. (Кстати, также ловили и Лариссу Андерсен, но она, по словам Перелешина, «прикинулась дурочкой»). Я жил в Москве, комитет находился в Москве, и за мной явно прислуживали. Вероятно, только моя эпилепсия и отвела от меня их интерес.

Но Перелешин был далеко, и продолжал, видимо, думать — а не держу ли я за пазухой все ту же идею «каюринизации». К 1978 году, признаться, я о ней основательно позабыл. Итак, вот цитата из упомянутого письма:

«Наш „разрыв“ в 1974 году только теперь понятен до конца. Именно такое предположение (в связи с Каюриным) я и высказывал тогда в письмах Л. Ю., но она это предположение решительно отвела: нет, Ариэль сам не пишет по лени или небрежности <*…не писал-то я вообще никому, знаю, что за мною следят довольно зорко, я ждал, что подполковники из комитета проворуются, на их место придут другие, — собственно, так оно и случилось; не зря меня учили зеки Штейнберг и Петров*: „***Обожди, чтобы следователя убрали — следующему будет не до тебя, — да так и случилось“*** — Е. В.>. Когда в первые дни ноября я получил сообщение о переменах в Вашей жизни, сложил два и два, и сделал совершенно ошибочный вывод. Горьких стихов, заканчивающих книгу „Ариэль“, не возникло бы, если бы тогда Каюрин не воскрес, получилось бы очень хорошо, но „разрыв“ я переживал мучительно. То, что этот разрыв не был окончательным, подтверждает мою гипотезу, высказанную в „Звене“ и многих других сонетах»…

О мертвых — см. выше, но лучше уж — ничего. Как раз моя первая семья любой ценой хотела моего разрыва с Перелешиным (даже перечислять не хочу, *что именно* я теперь отыскал в старых бумагах). Но результат получился обратный — я порвал с первой семьей и занялся литературой русского зарубежья, при случае помогая друзьям: передавал на запад то «Хронику текущих событий», то… кому надо, тот знает, что именно. Но это история обо мне, а не о Перелешине. Так или иначе, приблизительно в седьмую годовщину «рождения» Ариэля я помирился с Перелешиным, он помирился со мной, и ссор больше не было. Был лишь перерыв в общении в андроповские времена, но уж

больно густой тогда над страной висел запах лесоповала. Лучше было отсидеться в своем углу. А моим углом в СССР был поэтический перевод, да к тому же (в стол) я написал два первых тома своего первого романа «Павел II». Роман вышел в 2000 году в АСТ, о советской власти тогда уже стали забывать. Но и Перелешина, кроме как по антологиям, печатать мне было пока что негде.

В поздних письмах он обращался ко мне даже «Мой дорогой Женя-Ариэль». Или над «Мой бесконечно любимый», возле даты приписывал: «Под созвездием Ариэля». Я в его сознании окончательно слился с тем образом, который приходил к нему ночами. Я мог лишь молчать. Если от такой ситуации возникали его стихи — остальное меня не касалось. Я все принимал как факт. Единственное, что я — в отличие от моих друзей и близких — точно чувствовал, что советской власти *недолго осталось*. Единственный, кто говорил о том, что предчувствует свое возвращение в Россию — притом не книгами, а при жизни — был Александр Солженицын. Его слушали — и ему не верили. А я молчал, и осторожно готовился к переменам. Не зря, как жизнь показала. Перелешин считал, что советской власти придет конец к 2040 году. Он ошибся на полвека, но, к счастью, в лучшую сторону.

Перелешин питал клиническую нелюбовь одновременно к Евтушенко и к Бродскому. Но ответили они ему принципиально по-разному. Все, что надо, о «невстрече» Перелешина и Бродского (хоть и сидели рядом) в своих воспоминаниях рассказывает Ян Паул Хинрихс, а вот Евтушенко, плюнув на все оскорбления, и любил стихи Перелешина, и любит их по сей день: я имел возможность долго поговорить об этом с Евгением Александровичем в 1993–1994 году, когда редактировал его огромную антологию русской поэзии XX века «Строфы века» (вышла в 1995 году… четырьмя тиражами). После всех моих рассказов Е. А. просто взял да своей составительской волей увеличил подборку Перелешина минимум вдвое. Свидетельствую под присягой: он о бразильском отшельнике никогда слова худого не сказал. Кое-что пишу об этом в примечаниях к конкретным стихотворениям: так справедливей.

Кстати, занимаясь всю жизнь Бодлером и рассмотрев некую аналогию между цельностью «Цветов зла» и «Ариэля» я предложил Перелешину собрать воедино сонеты, чисто по нумерологическим соображениям в книгу не попавшие. В конце концов, если у Бодлера были «Осколки Цветов Зла», почему не составить хотя бы в рукописи «Осколки Ариэля?» Ответ Перелешина был довольно бледным: для него эта книга

определенно стала прошлым. 9 июля 1978 года он писал мне:

«Хорошо ли — „Осколки Ариэля“? Многие сонеты относятся к тому периоду, когда страсть стихотворца была в разгаре. Осколки — хорошо для последней фазы. Как хотите, впрочем. Уверен, что эти „не включенные“ сонеты Вы узнаете без труда».

Короче говоря, из затеи ничего не вышло. Компьютеров в ту пору не было, работали клеем, белилами и бритвой — до составления ли такой вот книги мне было, когда на собирание основных книг и стихотворений чуть ли не всех попавших под мою опеку эмигрантов уходило до 16 часов в сутки? Впрочем, в письме от 22 февраля 1980 года, перед долгим перерывом в общении, Перелешин мельком подбросил фразу: «А второй том „Ариэля“ надо назвать „Недосказанное“». Составить такую книгу не составило бы сложностей, только издавать ее, при наличии нынешнего относительно полного собрания в трех томах, пожалуй, незачем.

С середины июня 1978 года Перелешин стал писать о своих сексуальных влечениях сперва прямым, а позднее даже избыточно прямым текстом. Из письма от 10 июня 1978 года:

«Засматриваюсь на одного служащего ближайшей забегаловки („ботекина“). Такую красоту редко приходится видеть даже в Бразилии — стране очень красивых людей. Не знаю о нем ничего, даже двумя-тремя словами с ним не обменялся, хотя он всегда на меня смотрит, когда я прохожу мимо. Красота в малой дозе привлекает, но когда красота в избытке, желание сменяется благоговением. Тем не менее, сегодня я встретил на улице почтальона мулата (по прозвищу „Bonitão“ — Красавец) — тоже поразительно красивого, но красотой смешанной крови, зато улыбчивого и очень приветливого: и уже вторично пригласил его к себе — познакомиться. Культурой можно произвести впечатление на культурных или хотя бы ищущих культуры, а людям этого класса нужны достоинства другого рода: вот, если бы у меня был собственный автомобиль или возможность пригласить такого Красавца куда-нибудь в Ламбари или хотя бы Терезополис…»

И это всего лишь абзац. В дальнейших письмах, практически в каждом — хотя бы одна фраза да найдется: «Сегодня под вечер позвонился прехорошенький рабочий при доме, Raimundo, и вручил мне Ваше письмо…» «Раймундо пришлось прогнать, хотя он очень красив. Потом был еще Антонио — „Крещеный Антиной“. Красивый, женственный, ласковый. Я ждал его долго, но он не пришел второй раз»… И так далее. Боюсь, поставь я целью выбрать монологи Перелешина на эту тему из его писем, мне бы и на двадцати страницах не уместиться. Не знаю, писал ли

такое Перелешин кому-нибудь еще, но к этому времени точно знал: левша или не левша, гей или не гей его Ариэль (тот, что письма ему пишет), но уж точно — не осудит. Я не сообщал ему, что в моем романе «Павел II» описан довольно большой притон «голубых», и хотя места этому сюжету уделено немного, но знать предмет автору положено. Что я только не изучал для своей прозы — от выделки кож до плетения рогож, от залегания марциальных вод, до способов излечения от похмелья в различных странах. А тут — материал валил ко мне сам по себе, читай да усваивай. Да и не прочтешь о Бразилии такого ни в котором романе Жоржи Амаду.

Хочу напомнить, что все-таки начальной основой нашей с Перелешиным эпистолярной дружбы была другая моя цель: максимально полно собрать поэтическое (а затем и прозаическое) наследие Арсения Несмелова, и доказать таким образом несомненную для меня антитезу: в эмиграции была не только «парижская», аполитично-лиричная тема смерти, она же «парижская нота» (или, по выражению Перелешина, возникшему куда позже, «парижская коммуна») — но как минимум и «харбинская нота», поэзия, выросшая из глубин офицерской чести отступившей на Дальней Восток армии Колчака и Каппеля. Термин «харбинская нота», кстати, в XXI веке уже прижился в литературоведении; но ведь была и «американская нота» Ильяшенко и Голохвастова (в Европе 30-х годов о ней вообще никто не слыхал, были свои «ноты» в Белграде, Таллинне, Риме — теперь уже и не берусь все сосчитать, моим делом стал русский Китай, а значит — Арсений Несмелов и Валерий Перелешин. И первый истратил почти два десятилетия на то, чтобы помочь мне собрать стихи и поэмы Несмелова; первым итогом этой работы была, кстати, вышедшая еще в СССР, еще несовершенная книга стихов и прозы Несмелова — «Без Москвы, без России» (М., «Московский рабочий», 1990) — тираж составил 50 тысяч экземпляров и ли распродался. Соавтором моим был живший в те годы в Сочи «дальневосточник» Анатолий Ревоненко; некоторые стихотворения пришлось публиковать записанными по чьей-то памяти, вклад Перелешина в эту книгу и вовсе было не измерить никакими мерками. Но все-таки, это был первый черновик издания, как и владивостокский двухтомник 2006 года кажется мне таким же черновиком. Утешает то, что буквально все, некогда печатавшееся «по памяти», через 16 лет уже нашлось в редких публикациях. Однако все это отступление сделано не потому, что Перелешин, наш помощник № 1, так уж боготворил своего учителя, Несмелова (учителем он ему был в очень малой степени: стиль поэзии совсем иной), а потому — он честно признавался в

письмах, и даже не раз — что «чего не сделаешь ради любимых». А его Ариэль ничего не просил. Вот разве что еще поискать Несмелова… «Ариэль» подсказывал: зачем писать столько сонетов пятистопным ямбом, ведь шестистопный так красив! Потом подсказывал: а как же «перевернутые» сонеты, в которых терцеты стоят выше катренов? Исследователь может убедиться, что Перелешин пользовался огромным разнообразием форм «внутри» сонетного канона. Пожалуй, в этом была какая-то заслуга Ариэля. Потому как тот Ариэль, которым (по совместительству) был поэтом-переводчиком, вынужденно располагал избыточным запасом стиховедческих знаний. Мне они не пригодились, поэт (оригинальный) из меня едва ли вышел. Вышел поэт-переводчик, а это не одно и то же. Зато многое из этих познаний пригодилось Валерию Перелешину, и тому есть десятки свидетельств в нашей переписке. Перелешина избыток «переводческой темы» в моих письмах печалил (см. сонет «Возмездие» от 13 февраля 1979 года). Но он никогда не поверил бы, что я «для него же стараюсь»: менее чем через десятилетие он вернулся в Россию — для начала именно переводами.

Перелешин хоть раз на письмо да вставлял такое (от 7 июля 1978 года): «Думаю я о Вас всегда на „ты“ (смешно было бы „выкать“, постоянно чувствуя Вас рядом с собою: даже голову поворачивать не нужно). Люблю Вас многоярусно. Едва ли „как сына“: из любви к сыну книга „Ариэль“ не могла бы возникнуть <…> Ваша нежность вернула мне смысл жизни». По счастью, эти его письма ко мне если кто и читал, то только теперь и только с моего разрешения. Полагаю, это хорошо, что мы никогда не виделись. Будь я даже тем, что он насочинял — не годился бы ему в друзья тот литературный трудоголик, каким я был и навсегда останусь. Короче, не вышел бы из меня тот верленовский Люсьен Летинуа, памяти которого он демонстративно посвятил стихотворение еще в самом первом своем, харбинском сборнике. «Знающие» по этому имени должны были понять — кто и автору близок душой и телом. Но я-то был знающим по другой причине — я французский учил по биографии Верлена (правда, еще по Дюма, но… mea culpa, так быстрее и проще). Однако цитат о любви к «Ариэлю» можно привести десятки, и многие из них будут далеко не столь благочестивы. Но лучше воздержусь: как сказал Овидий по другому поводу в «Науке любви»: «Прочее знает любой» (перевод С. Шервинского). А если не знает, пусть вообразит.

1978 год все-таки изменил положение Перелешина в собственно бразильской литературе, куда он и не чаял попасть. Издание антологии бразильской поэзии «Южный крест» было все-

таки первым изданием бразильской антологии на русском языке (хотя именно такой рекламой пользовалась весьма убогая, вышедшая в Москве 1982 году антология, от которой нынче в литературе и памяти не осталось). Посвящена антология была «Памяти Евгении Фаддеевны Дубянской» — как писал Перелешин, некая дама умерла в Бразилии и, желая сделать доброе дело, завещала Перелешину «некую сумму» на издание любой его книги. «Сумма» известно довольно точно: «Южный Крест» обошелся переводчику в две тысячи долларов (видимо, канадских — счет поэт обычно вел в них и лишь недавно я понял, что канадская валюта в Западном Полушарии — вещь уважаемая. Друг Перелешина, все тот же «левша» Умберто (с которым роман, похоже, так и не состоялся), как пишет Перелешин 8 июля 1978 года «…хочет разослать по всей Бразилии свою заметку о выходе первой на русском языке антологии бразильской поэзии (Вашего покорного слуги). Написана заметка превосходно — и столько же откровенно: переводчик — бывший священник, переводчик — „левша“ (и этого не скрывает), а книгу можно купить у него лично» (следуют адрес и цена).

В общем-то от Умберто некоторая польза и бразильско-русским связям, и русской литературе оказалась: ему принадлежит наиболее известный из рисованных портретов Перелешина (тот, где поэт держит в руке сигарету — я поместил его в «Огоньке» при первой же публикации там стихотворений (№ 6 за 1989 год); совместно с ним перевел на португальский «Александрийские песни» М. А. Кузмина, Умберто же посвящены многие стихотворения в двух последних прижизненных сборниках Перелешина, вышедших в США. Едва ли Бразилия вспомнит добрым словом человека по имени Умберто Маркес Пассос. Россия все-таки не так неблагодарна.

Крайне редко описывал Перелешин свой домашний быт. Однако в эти годы мы ловили крохи счастья бесцензурной почты, и одно такое описание приведу. День рождения Перелешина — 20 июля, а цитируемое письмо датируемо: «21-го июля 1978 года. Без четверти восемь утра». Накануне, следовательно, имела место «полукруглая дата»: поэту исполнилось шестьдесят пять.

«В двух словах о вчерашнем „высокоторжественном“ (скорее траурном) дня. Стряпать мама уже не может; купили мы в кондитерской килограмм пирога с творогом (это здесь новинка), бутылку вермута „Синзано“, килограмм яблок, немного „салгадиньос“ к вину. Днем забежал Умберто (неизменно целует маме руку, а потом с нею целуется). А потом под дверь просунули нам поздравительную карточку от Тедди фон Ульрих, извещение с почты о прибытии посылки из Франции и — важнейшее из всего

— Ваше письмо от 8-го июля <…>. Как видите, хотя рассчитать было совершенно невозможно, Вы угадали: и письмо, и книги (оказавшиеся „Седой музой“ *<копия ходившего в московском самиздате самодельного сборника самых поздних стихотворений Софии Парнок — Е. В. >*, моим „однофамильцем“ *<невероятная история: мне попал в руки сборник поэта* **Бориса Перелешина** „Бельма Салара“, Стихи. М. Тип. ГПУ, 1923, 20 с. — я решил, что книга этого не очень одаренного „фуиста“ будет развлечением хотя бы для Валерия — и отослал — Е. В.>, графом Комаровским *<самиздатской копией сборника графа Вас. Комаровского „Первая пристань“ — Е. В.>* и Т. Ефименко *<также копией единственного сборника Татьяны Ефименко „Жадное сердце“ — Е. В.>* волшебным и непостижимым образом доплыли „как по часам“. Вечером зашел Виктор, принес еще две бутылки „Синзано“ и двадцать пачек сигарет „Континенталь“ — впрочем, без мягкого знака и не двадцать, а десять. Был вполне миролюбив. Пили мы „Синзано“ и белое вино „Пресиозо“, которое принесла в подарок соседка Ольга Владимировна Рачинская, внучка последнего графа Воронцова. Тедди помнит мою дату, ибо я всегда посылаю ей карточку к 13-му июля (день ее рождения), а Ольга Владимировна помнит ее потому, что через четыре дня празднуется день святой Ольги. Виктор ушел в десять часов, а затем снова пришел милый Умберто и принес свой подарок — две майки. Вина он не пьет, но чай любит чрезвычайно. И творожный пирог имеет у него успех».

Это то немногое, что можно узнать о последних годах мирной жизни поэта недалеко от Копакабаны, о жизни поэта-эмигранта в Бразилии в русской, лишь слегка латинизированной среде, — до переезда в Дом Престарелых Артистов в далеком (хотя зеленом) предместье города. Но дальше, буквально на той же странице, мы находим рассказ все о том же, о «самом главном» для поэта (что, как он полагал из русских поэтов его в первую очередь и выделяло). Возник приводимый ниже абзац потому, что в своем письме и высказался более чем положительно по поводу написанного еще в середине 30-х годов стихотворении Перелешина «К Люсьену Летинуа». Мне не хотелось объяснять ему, что вполне спортивный исторический Люсьен (умерший от тифа) имел мало общего с возникшим у Перелешина образом. Но стихи-то вышли прекрасные, что я прямо и написал. Рассказ о «харбинском скандале» вокруг этого стихотворения достоин быть процитирован: поэт, кажется, решил, что я понял его ориентацию с самого начало (это было вовсе не так, но… выдумка тут, пожалуй, важней истины, ибо именно она стала достоянием искусства.

«Мою „левшизну“ многие в Китае понимали (Ачаир часа

полтора читал мне лекцию о том, что, совокупляясь с женщиной, можно молиться, а если вместо женщины юноша, то… и т. д.: по поводу моего „К Люсьену Летинуа“, которое по недосмотру Кауфмана проскочило в „Рубеже“, после чего Евгений Самойлович обвинял в этом Рокотова, а Рокотов возражал, что весь материал что весь материал для очередного номера представил Е. С. и получил его, как утвержденный). Уже в Шанхае Н. В. Петерец говорил мне, что „К Люсьену“ — едва ли не лучшее стихотворение, кем-либо написанное на Дальнем Востоке. Шанхайские „островитяне“ вообще были умнее, чем харбинцы, и смотрели на вещи шире: меня всюду приглашали вместе с Тан Дун-тянем (о котором прочтете в одной из последних песен „Поэмы без предмета“». Но об этом в письмах ко мне — едва ли не сотни абзацев, а вот про пирог с творогом (какой-то совершенно васильe-розановский) и про «Синзано» (как читатель понял, у нас этот вермут называют «Чинзано») — считанные строки. Поэт — все-таки живой человек, не сексом насущным и даже не только поэзией он живет, нужен и кусок пирога, да только «сандуиш американо», в девичестве гамбургер, в Рио-де-Жанейро и в московском Макдональдсе — совсем не одно и то же. Да и помнить о том — плюс сорок за окном у поэта или минус сорок (было почти такое в Москве на моей памяти, было) — тоже надо. Кто привык к одной температуре, в другой жить не может, даже вороны и галки в большинстве стран — разные. А ведь поэзия строится из всего этого материала.

Кто знает почему, — не из-за искреннего ли сонета, посвященного Александру Солженицыну? — но в том же году четыре сонета Перелешина (в № XVI) напечатал и «Континент», со старой эмиграцией никогда особо не церемонившийся. Эта публикация поэта, которому почти негде было печататься, конечно, радовала, но зато брат стал все чаще отравлять жизнь и собственной умиравшей матери, и — само собой — жившему с ней старшему брату. Жизнь, конечно, посмеялась над ним самим: его водохранилища высохли в Бразилии как голые сковородки, всего десять лет прошло — а старшего брата уже вовсю печатали в СССР (еще не в России, но так для брата было даже обиднее), да и от самого Виктора Салатко осталось упоминание в справочниках — справка о том, *чей он брат*, да несколько юношеских, написанных по-русски стихотворений, попавших в 2001 году в московскую антологию «Русская поэзия Китая» (еще при жизни самого Виктора Салатко). Но в августе 1978 года он был еще ого-го. Этим временем датировано письмо Валерия ко мне, из которого извлекаю несколько фраз:

«Позавчера был у нас мой брат — и устроил настоящий

бенефис. Опять издевался над тем, что я „ничего не делаю“ (что пишу по-русски — это не только не в счет, но даже в минус), что должен платить все налоги по квартире и даже страховку (на что я резонно ответил, что в случае пожара страховку получит он, а я просто потеряю и книги, и рукописи, и одежду, и марки). Короче говоря, не только выживает маму и меня из квартиры, но и вообще со света сживает (главные доводы исходят, несомненно, от Лидии <*жена Виктора Салатко, однажды,* — помнится, летом 1972 года — даже завалившаяся ко мне в Москве в гости без звонка — по счастью, я догадался „не сразу вспомнить“, что у Перелешина еще и родственники какие-то есть — Е.В.>). А вчера поздно вечером (около десяти) забежал милый Умберто. Заставил меня перевести ему прозой напечатанные в „Континенте“ сонеты, восхитился их тонким рисунком — и обещал узнать о существующих в Рио-де-Жанейро убежищах для престарелых. Я готов пойти на все, лишь бы избавиться от милого брата, от его насмешек, от его ненависти к России, ко всему русскому, к маме и ко мне. <…> Сам он отупел (от „дринков“ и прочего) и оскотинился». Можно бы процитировать и вчетверо больше, да только надо ли? Лучше приведу фразу из письма куда более позднего, от 28 августа 1989 года: «На брата, который обычно меня презирает, как горького неудачника, напечатание стихов <*в СССР — Е. В.*> в двух журналах с портретом произвело впечатление». Только и можно сделать для бедного Виктора Салатко… что простить его. Уж за одно то, что, когда осенью 1989 года понадобилось оплатить дорогую операцию по удалению катаракт, образовавшихся у старшего брата на обоих глазах, то, как писал Перелешин 3 ноября 1989 года, «Зрение важнее денег. И брат сразу выписал довольно веский чек на эту операцию». Все-таки нет в мире ничего совсем черного, а есть ли совсем белое — лишь Господь ведает.

Надо заметить, что меня всегда занимало — почему Перелешин пишет «Ариэль» через «э»? У меня и рука-то с трудом такое выводит. Но Перелешин дал разъяснение (7 октября 1978 года): «„Ариэль“ или „Ариель“? Правильнее всего — „Ариил“ по аналогии с именами архангелов, Самуила, Мисаила, Гамалиила. Но заглавие моей книги взято не из Библии, а скорее из астрономии (один из спутников Урана, кажется) <*открывший в 1851 году этот спутник астроном У. Лассел взял имя из поэмы английского поэта А. Поупа „Похищение локона“ — Е. В.*> и еще больше — из „Бури“ Шекспира, которую я читал по-русски и затем по-английски. Как было написано по-русски, не помню». Короче, из подсознания у Перелешина вновь выплыл «Уран», а с ним, боюсь, и забытое ныне слово «уранизм», благородный

термин викторианских времен, извлеченный из диалогов Платона. Но это мои догадки. Как обозвали, так и приходиться принять. Перелешин псевдоним себе тоже не сам придумал.

Писем в 1979 году, а тем паче в 1980-м становилось все меньше: у Перелешина рушилась жизнь: брат переселил их с матерью на свою «дачу» довольно далеко от города, в местечко под названием Мурѝ, европейской осенью следующего года Евгения Александровна Сентянина умерла, и ни о чем, кроме ее смерти, Валерий писать не мог (да и жизнь в деревне без единого русского голоса была ему тяжела. В СССР становилось тоже не сладко: последовательно и я, и Саша Богословский потеряли связи во всех трех посольствах, соглашавшихся помогать нам дипломатической почтой. Оставался «открытый путь», но чем ближе была смерть Брежнева и чем страшнее поднимались над страной фарфоровые челюсти чудовищного Андропова, по сути прекратившего выезд из страны даже по израильскому каналу с первых дней своего воцарения в 1982 году — тем осторожней нужно было себя вести, чтобы не угодить в быстро растущий ГУЛАГ. Попала туда моя приятельница, поэтесса Ирина Ратушинская. Попал и мой напарник, Саша Богословский. Но меня воспитывали зеки: «*Придурись и вались в припадок*!» Я и валился. Только, к сожалению, припадок был самым настоящим: вальпролиевая кислота, известная еще с 1880-х годов, была в виде множества препаратов испробована на людях более чем через девяносто лет, а широко стала применяться лишь еще лет через двадцать, до России же дошла как вполне рядовое и эффективное противоэпилептическое средство лишь на грани миллениума; от эпилепсии эффективно помогла мне именно она, а в 1980-е — только и оставалось, что валяться в припадках каждые две недели, с трудом добывая не очень-то надежные, но хотя бы доступные европейские препараты. До литературы ли тут? Тут скорей к священнику идти надо. Я и ходил — в чудесную церковь довольно далеко от Москвы, где служил отец Александр Мень. Ходил, пока его не убили. Теперь я хожу в другую церковь, в огромный храм на Малой Грузинской. Надеюсь, Валерий не осудил бы меня.

Однако прежде, чем началась эта «черная полоса», мы еще успели обменяться с Валерием дюжиной писем: восемь писем, полученных от Перелешина, осталось у меня от 1979 года (между 1 января и 6 июля, видимо, еще до изгнания братом из Рио в Мурѝ, близ города Нова Фрибурго) и всего четыре от 1980 года: первое от 2 февраля, последнее от 13 марта. Эти письма явно пришли уже из Мурѝ, и они полны депрессии. Мать Перелешина умерла 11 октября… о годах Перелешина, прожитых им на

окраине Рио-де-Жанейро до тех пор, пока мне удалось «проломить стену» и начать печатать Перелешина в СССР, оставалось долгих восемь лет, и Ян Паул Хинрихс знает о них больше, чем я, а его воспоминания читатель может прочесть здесь же, на страницах нашего Собрания сочинений.

Однако кое-что на излете «второго периода» нашей переписки мы друг другу сказать успели. Основное, чем занимался в это время Валерий — спешно, ежедневно и подолгу копировал для меня свои стихи и переводы, справедливо полагая, что в Москве им, как рано ли, поздно ли, «…как благородным винам / Настанет свой черед». …©. Полагал он так совершенно правильно, но едва ли помыслить мог — как скоро это произойдет. Из писем этого периода трудно даже цитаты выбрать: это сплошные перечни того, что — послано, что — не послано, а что — вовсе неизвестно куда делось. Но, теряя последнее зрение и силы, он терзал свою «Машу» (пишущую машинку) — и верил в свою звезду. Я аккуратно и в первую очередь следил, чтобы ко мне максимально полно попали его переводы. Тут не было предвидения, я знал, что в нашу печать оригинальное нахрапом его творчество не протащить, а вот с переводами дело могло пойти иначе. Удалось же мне протащить еще в 1974 году в книгу Райнера-Марии Рильке (изд. «Молодая Гвардия») переводы, выполненные в эмиграции Александром Биском (1873–1973), с которым я даже успел списаться в последний год его жизни. А ведь Биск вовсе не вернулся. Так же печатали и переводы В. Ходасевича из К. Тетмайера и Мицкевича, да и многое другое: за переводчиками почти невозможно было уследить. Кто такие? Ни одно агентство не знает, а фамилий в содержании тридцать или сорок — иди знай, кто есть… кто. К этому сюжету мы вернемся, и довольно скоро.

Кстати, на мой вопрос — каким образом отбирались сонеты для «Ариэля» есть точный ответ Перелешина в письме от 6 марта 1979 года: «Необязательное в нем есть, но где его нет? А единством всё это оправдывается. Ведь это всё-таки дневник». Перелешин и сам не заметил, как проговорился о самом главном: принесшая ему едва ли не мировую славу поэтическая книга была не «сборником», как остальные — она была цельным гармонически и единым произведением — поэтическим дневником. Возникла она без первоначального замысла, стихи расположены по хронологии, но сюжетом в ней стала наша жизнь, вместе с ошибками, наветами, вкраплениями чего-то «вставного», без чего жизнь тоже не существует. В письме к кому-то третьему в середине 1970-х Перелешин писал (пересказываю по памяти), что «Ариэль и всё, что к нему относится — это теперь для него совсем

чужое и отдаленное». Однако ветер неизбежно возвращался на круги, и на кругах этих опять возникал вымышленный, хотя отчасти и реальный, Ариэль, шекспировский дух воздуха и астрономический спутник планеты Уран.

С русским языком у него были отношения твердокаменные. Много лет подряд он твердил мне, что слова «глухомань» не существует, ибо никого там никто «не манит». И клялся, что такого слова нет ни в одном словаре. То, что оно есть *в любом* словаре (у Ожегова, у Ушакова, у Зализняка, в обоих Академических и т. д.), примеры из довольно старой литературы он игнорировал: это все была «советская самодельщина». Я мог бы и доказать ему, что он ошибается, да только… зачем? Обижу старика, он замкнется. Лучше уж перейти на другую тему. И я использовал рецепт Дизраэли: «Говорите с человеком о нем самом, и он будет слушать вас часами». Теперь я рад этому: было меньше споров, а я получал больше фактов. Летом 1979 года в письмах Перелешина, кстати, все чаще упоминается переписка с Яном Паулом Хинрихсом: судьба словно передавала Перелешина из моих рук в руки Яна Паула, благодаря чему нынче едва ли не основная часть архива Перелешина собрана именно в Лейдене, и лишь в Голландии Перелешин вкусил маленький кусочек того, что можно назвать «славой при жизни». К тому же летом того же года, увлекшись молодым соседом по этажу в своем же доме («… тут и красота, и приветливость, и много других привлекательных качеств…») Валерий все чаще стал писать стихи по-португальски. Забегая вперед, в период, когда мы были отрезаны друг от друга не то, что железным занавесом, а готовыми вот-вот клацнуть челюстями Андропова (Господь, однако, не допустил), к собственному семидесятилетию Перелешин выпустил книгу оригинальных португальских стихотворений, автопереводов, а также переводов на китайский с русского и китайского — «Nos odres velhos» (*«В ветхие мехи», португ. — Е. В.*) Вторая книга португальских стихотворений Перелешина так и осталась в виде разрозненной рукописи («Охотник за тенями»), но составляют ее почти исключительно автопереводы, и переводить их обратно — дело совсем неблагодарное.

Лишь в письме от 2 февраля 1980 года Перелешин очень окольным путем — через осевшего навсегда в Калифорнии поэта Николая Моршена (Марченко), моего большого друга, узнал о причине — почему я не пишу ему ни закрытой почтой, ни открытой почтой. Начиналась наша с Богословским (других не назову) побежка от «органов». В 1984 году Саша был приговорен Мосгорсудом (по статье 190-1 УК РСФСР: распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй) к трем

годам лагерей строгого режима. Я уцелел, но довольно дорогóй для души ценой: эмигрантской литературой нельзя было заниматься *вовсе никак*. Лишь с Моршеном, у которого была нераспознаваемая по фамилии национальность, иной раз я позволял себе обменяться открытками. А Николай Николаевич, тертый калач второй волны эмиграции, умел понимать не то, что эвфемизмы — он понимал и то, что не было написано вовсе.

Горестны эти письма от 1980-го. Брат выселил Валерия и мать в Мурḯ. У Валерия на обоих глазах росли катаракты (он писал «катаракт»). Перелешин понял, я уже попал «под колпак», но знал мои хитрости: если с чужого имени отправить письмо на другой адрес — оно дойдет; в письме от 22 февраля 1980 года: «Если неудобно писать сюда, пишите через Р. А., Ю. П. или Н. Н.)» *<т. е. через моего дядю Руди, через Юрия Иваска или Николая Моршена — Е. В.>* Письмо пришло через десятые руки — сперва попало к Ю.П. Иваску, потом в Европу, потом ксерокопию с него мне попросту привезли — уж и не вспомню, откуда. Можно было бы написать письмо в ответ. Но я, к сожалению, знал: такое письмо дойдет, но в нем можно было разве что попрощаться. А я не хотел прощаться, я отчего-то твердо знал, что от советской власти скоро памяти не будет, молился и хотел непременно дождаться дня, когда Перелешин будет печататься в Москве. В конце концов, еще в мае 1973 года сам Перелешин закончил сонет «В 2040-м году»: «Отверженный, заранее утешен, / Грядущее предвижу торжество: / Московский том „Валерий Перелешин“». (К слову сказать, в издательстве «Современник» на 1991 год было анонсировано и подробно аннотировано такое издание: ***Валерий Перелешин. Южный дом. Избранные стихотворения и поэмы.*** Однако «Современник» скоро «накрылся». И, по счастью, не только «Современник». Все равно книга была бы неполная и дурная, вспоминаю о ней лишь исторической справедливости ради). К тому же наверняка пришлось бы брать стихи в основном из прижизненных сборников Перелешина, — между тем его по тем временеам «несобранное» наследие оказалось втрое больше; в нем и теперь непросто разобраться. Посмотрите, к примеру, сколько раз и в самых разных вариантах обыгрывал Перелешин евангельскую строку — «*Марія же благую часть избра*.» Даже теперь не скажешь — какая из разработок этой тему у Перелешина получилась лучше других. Ибо в поэзии совершенно неясно — что такое «лучше».

Последним тогда оказалось длинное письмо от 13 марта (ответ на мое от 24-го февраля), — Перелелешин догадался послать его вообще не мне, а моему дяде. Вот в последний приезд дяди Руди в Москву я его и получил. С опозданием эдак на

полгода. Природного немца Рудольфа Райнбаха тоже, видимо, не очень хотели пускать в Москву, но фамилии у него с братом были разные, да еще такая незадача: Рудольф имел счастье родиться в Москве в 1907 году, здесь похоронены его предки… а вот это уже скандал. Поди не пусти. Конечно, советская власть ждала его смерти. Но и сама пережила его не особо надолго.

Конечно, это было не то, чем дышали письма времен «трех посольств». Перелешин рассказывал о текущих делах, но заканчивал на грустной ноте: «В субботу (послезавтра) поеду с Умберто и его родными в Вале дас Видейрас („Долина Виноградников“), где я лет двадцать тому назад купил участок земли (две тысячи квадратных метров). Мать Умберто не прочь этот участок купить. И есть еще один знакомый Умберто (и мой — немного), некий Жозе Низио, который может „клюнуть“. Если не будет дождя, то поездка будет милая: по дороге красивейшие виды, будут остановки у баров, „кафезиньо“ и прочее <…>». В общем, уже рассказал всё, что рассказать стоило. Живое общение у нас давно не получается: конечно, и то хорошо, что можно хотя бы изредка «менять обрывки на обрывки».

На такой печальной ноте прервалось мое и Перелешина общение на восемь лет. Правда, в эти годы — пусть только на них — Перелешин неожиданно обрел «четвертую родину» — Голландию. Но об этом не мне рассказывать.

…Принято считать, что началом «Перестройки» (т. е. «началом конца» для СССР) можно считать январь 1987 года, когда очередной пленум КПСС решил считать (не помню что) подлинным продолжением (уж не помню, чего — скорее всего, ленинского курса, но слова тогда роли не играли). Играло роль то, что на глазах рушилась цензура, выходили из лагерей и тюрем, возвращались из ссылок «политические». Что-то происходило раньше, что-то позже: в 1986 году «Огонек» уже печатал Николая Гумилева, но некоторое время положение было как в бессмертной формуле Александра Галича «То ли гений он, а то ли нет еще». Однако 1988 год точки над і расставил: в журналах потоком появилась «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, а прочего не перечесть. Еще в 1986 году меня таскали на допросы (все-таки добрались какими-то путями), но уже через считаные месяцы я рассказывал об этих допросах в интервью «Московскому комсомольцу». Я временно отложил в сторону амбиции прозаика, да и как поэт-переводчик стал работать поменьше — требовались мои знания литературоведа, сколь бы ни казались они мне теперь несовершенны — но другие-то не знали вовсе ничего. И как раз тогда, летом 1988 года, Перелешин

наконец-то вернулся «в Россию стихами» ©. Правда, поначалу, как я и предвидел — переводами. Но почему-то не теми, которых я ожидал.

Здесь мне придется процитировать не письмо Перелешина, а оставшуюся у меня копию моего собственного: возможно, многое станет ясно уже из этого «изложения фактов». Мое письмо датировано 26 августа 1988 года. Прошу прощения за кое-какую формальную правку текста, — но письмо мое, и если я немного контаминировал его со следующим (своим же, от 2 октября) — так на то мое авторское право; фактов я не искажаю.

> «Дорогой Валерий Францевич, Бог даст, письмо ляжет в Ваши ладони и Вы его прочтете. Не писал Вам с 1980 года: жизнь моя была такая, что не только что письма писать, а и дышать было невмоготу. Кое-что, пожалуй, знаете через Париж и Амстердам. Только и гордости мне за все эти годы, что привезенная Иоанном Павлом Хинрихсом в Москву книга „Два полустанка“: все-таки выдал Вам замуж за Голландию лично я.
>
> 17 июня 1988 года газета „Московский литератор“ (безгонорарная; „Орган правления Московской организации Союза писателей РСФСР“), пятница, двойной номер 25–26), текст на стр. 4, столбец 3, опубликовала „проспект-проект“ переводческого журнала „ПРЕОБРАЖЕНИЯ“ (как бы „дайджест“ будущего журнала по рубрикам; все это заняло три газетных полосы. В том числе в „Литературном отделе“, рубрика 5Е, „подсказанная Романом Тименчиком“ <…> раздел: „ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ“. Поскольку весь номер готовили испанисты, то и кусок должен был быть зарубежно-испанским. Задолго до выхода номера был мне звонок от одного из наших испанистов, притом такого, на которого я все больше эпиграммы сочинял. С вопросом: что переведено с испанского в зарубежье. <… > я вспомнил про бессмертное „шило в мешке“… и вот результат — выписываю буквально, потому что даже своего номера газеты нет, ксерокс по почте скорее всего не дойдет, так что просто выписываю.

* * *

Совершенно фантастическая судьба выпала на долю

Валерия Перелешина (псевдоним В. Ф. Салатко-Петрище), который родился в 1913 году в Иркутске, но уже в 1920 году оказался в Харбине, где издал первые четыре книги стихов тиражами от 200 до 500 экземпляров, а также перевод „Сказания о старом мореходе“ С. Т. Кольриджа и многочисленные переводы из старинной китайской поэзии. С начала 1953 года Перелешин живет в Рио-де-Жанейро, где, после долгого молчания, начиная с 1967 года, издает одну за другой шесть поэтических книг *<на самом деле больше, но я этого тогда не знал — Е.В.>*, две книги переводов с китайского и, что наиболее для нас интересно, первую на русском языке антологию бразильской поэзии „Южный Крест“ (1978), многие переводы которой хотелось бы видеть переизданными в СССР. Переводит он и с испанского: „Духовную песнь“ Сан Хуана де ла Крус (1542–1591), опубликованную в Париже, сонеты Боскана, Гарсиласо де ла Веги, Гонгоры, Лопе де Веги, — большая часть их не издана. Сейчас поэт, почти потерявший зрение, живет в доме для престарелых в одном из пригородов Рио-де-Жанейро, продолжая, однако, писать стихи и заниматься поэтическим переводом. Один из таких неизданных переводов мы и приводим.

ХУАН БОСКАН-И-АЛЬМОГАВЕР (1495–1542)

Пустынником я прожил нелюдимым,
Но в мой мирок, чужой пирам и войнам,
Явился друг, что слыл уже покойным,
А мне навек запомнился любимым.
Его приезд я счел необъяснимым,
Но вскоре вновь признал его достойным,
И прошлое ручьем бесперебойным
Затеплилось, назло минувшим зимам.
Когда же в путь пришлось пуститься другу —
Ведь у него своих забот немало,
Я ощутил заброшенности меру.
Я ни холмам уже не рад, ни лугу,
Мне нравится безлюдье перестало,
И я дрожу, входя в мою пещеру.

Переведено 13 мая 1973 года»

……..

Остальное можно не цитировать, однако считаю себя в обязанности привести эту цитату целиком. Как-никак, это была не только первая публикация в Москве, в открытой печати — это ведь была еще и моя самодеятельность. Я опубликовал сонет без разрешения Перелешина, а чего от него ждать, какой реакции — не имел ни представления. Кстати, номер газеты все-таки попал к Перелешину 5 ноября 1988 года. Интересно, сохранился ли он? Архив Перелешина по большей части цел, но слишком распылен по всему миру.

Дальше начался последний этап нашей переписки. Многое в нем сейчас не имеет никакой ценности: то одно издательства просило у меня стихи Перелешина, то один журнал, то другой, и по большей части кончалось это все ничем. Но у этой переписки есть строгие границы во времени: ответ на мое, процитированное выше письмо, датирован 11-м сентября 1988 года, последнее же письмо, вполне оптимистичное и спокойное — 18-м октября 1990-го года. По данным Ли Мэн, в ИМЛИ хранится и мой ответ на это последнее письмо… но что-то, видимо, случилось у поэта со здоровьем, и контакт оборвался. Уже навсегда — если не считать слепых открыток, которые Перелешин (уже с бессмысленными текстами) посылал на Урал дочери Арсения Несмелова, Н. А. Митропольской.

Перелешин, против моего ожидания, вообще воспринял всё *как должное* — больше печалился о том, что мы почти десять лет были лишены общения, что по слепоте не может вправить в пишущую машинку новую ленту, что не все из уже тридцати его поэтических сборников стоят у меня на полке, и лишь в конце добавлял: «Сведения, сообщенные обо мне тобою, вполне правильны, не в пример тому, что в Париже написал обо мне Вася Бетаки („Русская литература за тридцать лет“). По его домыслам, я родился в Белоруссии, учился в Шанхае и т. п. Родился я в Иркутске, учился в Харбине и Шанхае, а не только в последнем». *<Где это написал и напечатал только что ушедший от нас Василий Павлович?.. Память его подвела, вот и все грехи. Спи спокойно, друг наш новопреставленный. Е.В., 25 марта 2013>* (Как справедливо замечает Ли Мэн, в Шанхае Перелешин уже не учился, а только собирался писать диссертацию; однако не исключаю, что словом «учился» Перелешин хотел сказать, что он в Шанхае «занимался самообразованием») Дальше Перелешин писал уже далеко не так спокойно. Отношения с Голландией, видимо, складывались неровно, — хотя через год я получил из

Лейдена том «Русский поэт в гостях у Китая», а от Перелешина, разумеется, список опечаток, которые в своем экземпляре исправил по его инструкции от 25 ноября 1989 года; Перелешин ворчал даже на давно погибшего Несмелова: «Работать (напрягая остатки зрения) для того, чтобы упрочить славу А. Н. — жертва слишком большая. Ведь А. Н. ничего подобного для меня не сделал бы. Когда он временно редактировал „Рубеж“, он вовсе не пропускал не только моих стихов, но и переводных рассказов моей матери, которая этими заработками жила и с которой А. Н. дружил». Досталось, к сожалению, и несчастному Умберто Маркес Пассосу (уж не знаю, за дело или нет): «В конце семидесятых годов случайная встреча в мастерской ксерокопий скоро превратилась во всеобъемлющую страсть, мучившую, но и питавшую меня творчески до прошлого года. Говорю об Умберто Маркес Пассосе, которым полны мои сборники „Двое — и снова один?“ и „Вдогонку“. Хотел он от меня только денег — и выжал их далеко за две тысячи долларов. <…> С Умберто я давно не встречаюсь и понемногу перестаю о нем думать. Ему сорок один год. Жадный, до мозга костей себялюбивый, бессовестный, но — что еще опаснее — очаровательный. Живет он отдельно на подачки от богатой матери, которую не любит („Больше десяти минут в ее обществе не выдерживаю“). По слепоте я сделал когда-то завещание в его пользу, но на днях сделал другое, где его имя даже не упомянуто». Полагаю, что каждому из тех, с кем общался Перелешин в жизни, однажды доставалась одна их филиппик в письме к кому-нибудь третьему. Но время уносит грязный песок в море забвения, а золото поэзии остается.

В письмах этих двух лет, разумеется, вновь очень много о поэтических переводах — Перелешина, моих и всех на свете… но надо же и совесть иметь. Скажем, для меня куда важней было уже в XXI веке обнаружить, что «специалисты» по литературе русского Китая сплошь и рядом делают из Валерия Перел***и***шина, притом едва ли эта опечатка восходит к одной из моих первых публикаций поэта, к трагическому номеру «Литературной Армении» за 1989, № 5, весь гонорар за публикации в котором все авторы пожертвовали жертвам страшного землетрясения в Спитаке. Но фамилию-то именно там на моей памяти переврали впервые — там печатался поэт Валерий Перелишин… ладно, пусть хотя бы стихи не перевирают, а фамилий у человека может быть много.

Третье письмо этого периода, датированное 18 октября 1988 года начиналось обращением: «Мой дорогой, по-старому любимый Ариэль…». Ветер вновь принес духа воздуха к поэту. Мне, жившему в распадавшейся на куски стране было это и

радостно — и кружило голову. Ясно было, что пока можно — нужно напечатать в Москве (а хоть бы и не в Москве) как можно больше поэтов-эмигрантов. За один лишь следующий, 1989 год, удалось тиснуть хорошую подборку Перелешина в «Огоньке» (№ 6, а ведь журнал был еженедельным!), в «Новом мире» (№ 9 — в составе подборки «Дань живым», вместе с Чинновым и Моршеном, — заметим, никаких стихов в этом номере больше не было), в «Литературной учебе» № 6 (любимая автором гностическая «Поэма о Мироздании» — и там же примерно половина его книги воспоминаний, «Два полустанка», та, где речь шла о литературной жизни именно русского Харбина; Перелешин был потрясен: **именно эта публикация не содержала** *ни единой* опечатки!), и это не считая как мелких, так и «пиратских» перепечаток. Однако у меня на руках была заверенная в советском консульстве (в конце августа 1989 года) доверенность от Перелешина, гонорары получал я, и при чудовищной инфляции их хватало мне хотя бы на почту. Перелешин хотел, чтобы половина гонораров шла Аните Адамовне Гинценберг в Латвию… но она не хотела брать денег; об этой истории подробно рассказано в воспоминаниях Яна Паула Хинрихса. Осенью 1989 года Перелешина прямо в его коттедже посетила заехавшая в Бразилию к друзьям московская поэтесса Тамара Жирмунская, — адрес, понятно, дал ей я. В своей книге воспоминаний [«Мы — счастливые люди. Воспоминания» (Москва, 1995)] она оставила оставила очень теплую главу, посвященную Перелешину — «Раненый жемчуг». Печально описывает она внешний вид «Руа Ретиро дос Артистос»: «Престарелых артистов поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. Без приусадебного участка, без зелени. Перелешинская хибарка значилась под номером пять». Встречу свою с Перелешиным Жирмунская (ныне живущая в Германии) описывает подробно, но, похоже, стареющий поэт был отчего-то сильно не в духе в этот день — ругал Гумилева, да и вообще неясно — хвалил ли хоть кого-то. А ведь его уже печатали в России, и «Закат печальный» оборачивался для Перелешина все более растущей известностью.

Теперь, когда поэтическое, да и переводческое наследие Перелешина в целом собрано, да и научному его изучению начало положено, должен с грустью заметить: я помню строки из стихотворений (притом сонетов), которые мы найти все-таки не смогли. Частично, это, возможно, результат переработки текстов. Но не надо удивляться, если найдутся и такие стихи, которые у нас почему-либо пропущены. Кто знает, какакая судьба постигла за сорок с лишним лет хрупкие листочки папиросной бумаги.

Думаю, что-нибудь еще найдется. Могу лишь завидовать тому, кто их найдет — и, надеюсь, опубликует.

…Довольно легко удавалось проводить (и с большим успехом!) авторские вечера Перелешина — в библиотеке Союза Театральных работников, в Центральном Литературном Музее и еще много где, — увы. Перелешину я мог посылать лишь пригласительные билеты, но они, кажется, радовали его не меньше самого факта. На Žвечере в Литературном музее, кстати, имел место похабный казус: немолодая дама в шляпке подплыла ко мне и стала расхваливать меня на все тридцать две стороны компаса за занятия эмиграцией, конечно, она соглашалась, что Перелешин большой поэт, *но может ли быть приемлема такая оголтелая пропаганда гомосЭксуализма…* Я сперва и слова-то не понял (очень не скоро я сообразил, что это — искаженная форма английского homosexualism, где ударение и вправду стоит на третьем слоге). Зал основательно заржал. Позже я выяснил, что дама эта довольно знаменита — тем, что, рассказывая о том, как расцвела русская поэзия в Харбине *после вступления в него советских войск в 1945 году*, в предисловии к очередной самопроцензуренной антологии, умудрилась написать слово «родина» с большой буквы… двадцать два раза (причем во всех случаях она имела в виду только СССР). Даму, честно говоря, мои друзья чуть не побили. А заслужила ли она даже зуботычину, жалкая щепка советской эпохи? Правда, половину того, что я рассказал на том вечере о Перелешине, она позже опубликовала за своей подписью. Но, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Кстати, дама в шляпке числилась и среди корреспонденток поэта. Он брезгливо именовал ее не не иначе как «завзятой феминисткой». Мне кажется, он этой даме несправедливо льстил.

О продвижении в печать переводов Валерия я уже не заботился — ясно было, что все и так будет. Впрочем, журнал «Проблемы Дальнего Востока» в 1990-м году (№ 3) с уважительнейшим предисловием Г. В. Мелихова напечатал «Дао Дэ Цзин»; в 1994 году та же философская поэма сумасшедшим тиражом (но не без моего ведома) была тиснута эфемерным издательством «Конёк», а в 2000-м подарочным, дорогим, но все равно тут же разошедшимся изданием в издательстве «Время», в серии «Триумфы» — правда, в это я время я случайно… работал главным редактором этого издательства. О посмертных публикациях, об антологиях уже не хочется рассказывать. Кстати, именно в последнем письме ко мне (от 18 октября 1990 года) Перелешин благодарил за «Дао Дэ Цзин». И добавлял: «Мой экземпляр журнала дан на прочтение А. Г. Лермонтову». Значит,

судьбе было так угодно: последней серьезной публикацией, попавшей в руки еще относительно здорового Перелешина — притом из Москвы — была книга о Дао. Не символично ли? Еще — Перелешина заинтересовало: не родственник ли «бразильский» Лермонтов нашему великому Михаилу Юрьевичу? Жаль, тогда я еще не увлекся кельтологией и не мог (не успел) сказать ему: безусловно родственник. В Шотландии, откуда происходит род Лермонтов(ых), нет однофамильцев — есть только родственники, члены одного клана. Но — жизни всегда не хватает. Перелешин верил во «второе рождение», я не верю, но верю в то, что встреча наша где-то и когда-то все-таки неизбежна.

Правда, и в доверенностях, и в письмах Перелешина есть недвусмысленное указание на то, что «Читатель, на которого я держу прицел — в России, как бы она ни называлась. Больше того: авторские права в России сейчас осуществляются через Вас, а после моего неизбежного ухода переходят к Вам (надо бы написать — к тебе». Формально наследником Перелешина мог бы числиться его брат Виктор, но и он умер бездетным в США в 2005 году. Кстати, Нина Мокринская (Фушье) об этих поздних месяцах жизни Перелешина рассказала подробно в статье «Последние дни русского поэта» (газета «Русская жизнь», Сан-Франциско, 11 февраля 1996 года): «Я заметила, что письма от Валерия стали приходить все реже и реже, а потом и совсем прекратились. Обеспокоившись, я разыскала его брата (который из Бразилии успел перебраться в Америку). Виктор мне сообщил, что Валерий болен и находится в бразильском госпитале. Физически не страдает, но уже плохо что понимает. Все мысли и воспоминания его „кружатся“ около харбинской Чураевки юношеского времени. Валерий был оперирован, но появилось другое недомогание: склероз и что-то вроде болезни Паркинсона. Ходил очень плохо Ї упал и сломал бедро. Еще одна операция. На этот раз слабыйй организм не выдержал. Поэт умер 7-го ноября 1992 года».

Этот день был отмечен неким вовсе неожиданным событием. Днем мне позвонил Ян Паул Хинрихс и сообщил о смерти Перелешина. А следом — я еще и молитвенник не открыл — позвонила из Мюнхена чудесная поэтесса Ирина Николаевна Бушман, сообщила, что второй день стихи пишет без остановки, и ей с кем-то надо ими поделиться. Я стал слушать, но на первом же оцепенел: такие совпадения совпадениями, на мой взгляд, считаться не могут. Первое же стихотворение процитирую целиком:

РАЗДРОБЛЕННЫЙ СОНЕТ

В. Перелешину

В эпоху
без природы
без искусств,
когда нет в музыке мелодии,
нет позы
в скульптуре
и когда уж по полям — навозу
и ни быка — коровам
не до чувств!
Лишь,
на конвеере лысея,
дуры
ни пуху, ни пера!
Несутся куры,
намереваясь высидеть цыплят…
В действительности —
всмятку
иль в мешочек
и без кукареку,
затем, что кочет
уже давно остыл,
с вертела снят,
и даже вовсе не в эпоху —
в это
безвременье,
межвременье, иль вне?
Один,
как перст…
что пишет по стене
огнем
слова последнего сонета…

7 ноября 1992 года.

Я выждал и спросил — знает ли Ирина Николаевна, что Перелешин буквально сегодня умер? Она не знала. Но в письме ко мне от 14 февраля 1992 года приписала: «Спешу отправить Вам сонет. Теперь, переписав его, даже удивляюсь, как сразу не сообразила, что это уже *памяти поэта*… А тогда только подумала: „Что это я написала в день юбилея революции?..“ А то я бы не запомнила даты». Сонет был с этой припиской опубликован Валентиной Синкевич в филадельфийском

альманахе «Встречи» за 1993 год.

(Тогда еще говорили «юбилей революции». Теперь прижилось — «годовщина переворота». Потому как ближе к истине).

Теперь, через двадцать лет после смерти Перелешина, даже имея в принципе все документы на то, чтобы считаться наследником Перелешина, я считаю себя не только вправе, но числю своей обязанности считать все авторские права на творчество Валерия Перелешина общественным достоянием, или, говоря языком международного права, объявить его наследство public domain. Авторское право при отсутствии заслуживших этого право наследников — безусловное зло. А я и мои коллеги если что и заслужили, так право составить и издать собрание сочинение большого русского поэта Валерия Перелешина. Ну, авось дадут нам по пачке-другой этого «Собрания». Сорок лет мне надобилось, чтобы пройти этот путь. Я не жалею об потраченном времени. Лучший русский поэт Южного Полушария оплатил мое время и душевные силы очень дорогой валютой — русскими стихами.

Едва ли я Ариэль. Скорее мне, как артисту, довелось сыграть роль Ариэля.

Но какой артист не помнит аплодисментов зала, когда по окончании пьесы, еще в костюме и гриме, не выходя из роли, приближается к рампе? Сегодня ты Сирано у Ростана, завтра Рюи Блаз у Гюго, послезавтра Тень Отца Гамлета у Шекспира…

Да, читатель, ты догадался. Прими поклон от артиста, сыгравшего столь долгую роль Ариэля на сцене жизни и поэзии Валерия Перелешина.

Евгений Витковский
16 июля 2013 года, Москва

notes

Примечания

1

Антология поэзии Дальнего Востока. Хабаровск, 1967, с. 114–120. Публикация включала пять стихотворений, три из которых были сокращены цензурой.

2

Позднее И. Н. Пасынков сомневался в дате, но одно утверждал точно: это не могло произойти позднее декабря того же года, когда вся группа сидевших в камере ушла по этапу.

3

Письмо к С. И. Ражеву. Впервые полностью опубликовано в кн.: А. Несмелов. Без Москвы, без России. М.: Московский рабочий, 1990.

4

Там же.

5

В справке очевидная опечатка: «1989».

6

Раиса Стоколяс. Жена и дочь Арсения Несмелова. Документальный очерк. Верхняя Пышма, 2001. С. 32–33.

3124. Митропольский И. А. Из воспоминаний врача. Служба в Москве (1865–1875 гг.). — РА, 1895, кн. 2, вып. 8, с. 529–539; кн. 3, вып. 9, с. 100–124; вып. 10, с. 225–252; вып. 11, с. 297–318; 1896, кн. 1, вып. 1, с. 77–96; кн. 2, вып. 5, с. 110–126. Доп.: РА, 1896, кн. 2, вып. 6, с. 303–304

8

Имеются сведения, что в 1919 году И. И. Митропольский еще был жив и печатался в Ростове-на-Дону, во время пребывания там армии А. И. Деникина.

9

ЦГВИА СССР. Ф. 490. Оп.1. Д. 90–896.

10

По другим данным мобилизован Митропольский был даже прежде «всеобщего призыва» — 27 августа 1914 года, ровно за месяц до отбытия своего полка на Западный фронт.

11

Письмо к П. П. Балакшину от 1 марта 1936 года.

12

Письмо к П. П. Балакшину от 15 мая 1936 года. Комендантом Омска при Колчаке был полковник Василий Никифорович Катаев (?-1938, Харбин), в прошлом омский нотариус.

«О себе и о Владивостоке» (т. 2 Собр. Соч. 2006.).

14

Несмелов ошибается, называя апрель: спустя десять лет его подвела память.

15

Музыка В. Евзерова.

16

Цит. по: Перелешин В. Об Арсении Несмелове // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 665

17

Цит. по автографу.

18

Перелешин В. Об Арсении Несмелове. С. 666.

19

См.: Без Москвы, без России. С. 178–180.

Рубеж. 1935. № 38.

Луч Азии. 1937. № 2.

Луч Азии. 1937. № 7.

23

Дальневосточное обозрение. 1920. 14 ноября.

24

См. факсимиле письма к Якушеву, где речь идет о футуристах во Владивостоке: «Асеев в своей книге очень извратил всё» (Рубеж [Владивосток]. 1995. № 2/864. С. 244).

Т. е. романа «На западном фронте без перемен» (1929). В 1932 году, когда «Возрождение» опубликовало рецензию Голенищева-Кутузова на «Багульник», роман Ремарка был еще свежим явлением литературной жизни Европы.

26

Вероятно, речь всё же идет о второй родной дочери поэта, а не о падчерице — дочери Анны Кушель, Ирине Радченко (р. 1924).

Тираж его, по воспоминаниям Ю. В. Крузенштерн-Петерец, приближался к двум с половиной тысячам экземпляров.

28

Нет уверенности, что это псевдоним одного лишь Несмелова: в 1924 году в Харбине вышло «Собрание сочинений Валентина Дмитриевича Гри» (наст. фам. Григоросуло).

29

Из письма Н. Щеголева к автору этих строк (1970 год); после смерти Н. Щеголева его вдова попросила у Е. Витковского оригиналы «писем» — чтобы сделать для себя копии, и тщательно их уничтожила. Цитата вынужденно приводится по памяти. — *Е. В.*

30

Записано В. Перелешиным по памяти.

31

Эта книга — не вымысел: в Харбине в 1931 году вышел поэтический сборник доктора А. А. Жемчужного «Холодные зори».

32

Перелешин В. Об Арсении Несмелове. С. 666.

33

Василий Иосифович *Гурко* (1864–1937) — генерал от кавалерии (1916); с 10 ноября 1916 по 17 февраля 1917 гг., во время болезни ген. М. В. Алексеева, исполнял обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего.

Позднее был начальником штаба Иркутского ВО; в 1919 г. назначен помощником военного министра колчаковского правительства по общей части; служил в РККА; арестован и расстрелян в 1937 году.

35

Адмирал (1912), генерал-адъютант (с 1908), казнен большевиками.

36

Кавалерист, генерал-майор (с 1912) года, умер в Ницце через пять лет после публикации рассказа в СССР (годом позже имела место харбинская публикация

Об авторе — А. Тюрине — известно, что до организации Добровольческой армии генералами Алексеевым и Корниловым, он служил при штабе походного атамана Войска Донского под началом атамана А. М. Каледина, позднее — уже при штабах руководителей Добрармии генералов М. В. Алексеева и Л. Г. Корнилова. Штабс-капитан был непосредственным участником военных действий весны 1918 г. на Юге России и очевидцем гибели Л. Г. Корнилова, которые и отражены в его воспоминаниях. Неизвестно, каким образом попали эти записи на Дальний Восток, однако, их публикация в то время имела большое значение, так как вносила определенную ясность в вопрос об обстоятельствах смерти Корнилова.

Луч Азии. 1939. № 12.

Возрождение. 1968. № 204.

Перелешин В. Об Арсении Несмелова. С. 668–669.

Континент. 1982. № 34.

42

Н. А. Гаммер обозначен как «издатель» на книге стихотворений Несмелова «Без России» (1931).

43

Харбинский грек, производивший «почти русскую» водку; фамилию его традиционно произносили с ударением на последнем слоге.

Борис Юльский (р. 1911/12) был арестован 22 сентября 1945 года, т. е. позже, чем Несмелов, но, согласно выданной по запросу Ли Мэн справке, в 13 августа 1950 года бежал из магаданского лагеря, после чего его судьба неизвестна. Отдельной книгой («Зеленый легион») повесть «Белая мазурка» и более 40 рассказов Юльского вышли во Владивостоке в 2011 году, к столетию со дня его рождения.

Даже если стихотворение существовало, разыскать его не удалось: оно могло быть и не опубликовано.

Современная китайская наука толкует это слово как «плоский (длинный) остров»: протоки на Сунгари к северу от Харбина несколько таких островов действительно образуют.

47

По всей видимости, речь идет о поэме «Нина Гранина».

48

«Еврейская жизнь» — журнал, выходивший в Харбине в 1925–1943 гг.

Бакич О. Русская история // Новый журнал. 2000. № 219. С. 38.

50

Уроженец Москвы, немец; в течение Второй мировой войны жил в Шанхае, издавал журнал «XX век».

51

Ошибка: несомненно, имеется в виду яхт-клуб, располагавшийся на Пристани (район Харбина).

Рубеж [Владивосток]. 1995. № 2/864. С. 344.

53

В беседе с писателем Владимиром Шорором, от которого и получены эти сведения.

54

См. его известное письмо А. И. Солженицыну (написанное совместно с Эльдаром Шенгелая): ЛГ. 1990. № 43 — логичное завершение его творческого пути, ибо пламенные стихи о Сталине этот автор печатал еще в Шанхае в 1941 году.

55

Копия была прислана Перелешину автором этих строк, получившим ее от Лидии Хаиндровой в 1969 г.; в свою очередь, автограф поступил к ней вместе с письмом от Несмелова еще в 1940 году.